

ДУША ЛИСЫ

РОМАН

狐
の
魂



СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

АЛЕКСАНДР БОРОДИН

18+

Александр Бородин

Душа лисы

<https://litres.ru/74013673>

SelfPub; 2026

Аннотация

После смерти родителей молодой человек оказывается в психиатрической лечебнице. Всё, что осталось от прежней жизни, — воспоминания о матери, умевшей видеть душу вещей, и старинная японская сказка, которую когда-то рассказывал дед.

Пытаясь справиться с утратой, герой вновь погружается в эту историю. Но сказка постепенно перестаёт быть просто сказкой. Мир легендарного Ямато Такэру, лисиц-оборотней, духов и древних богов начинает переплетаться с его собственной жизнью. Границы между памятью и мифом, сном и реальностью становятся всё более зыбкими.

«Душа лисы» — мифологический роман о любви, утрате и памяти, о том, что остаётся от человека после смерти и каким образом прошлое продолжает жить в нас. Соединяя современную историю взросления с японской мифологией и сказочной традицией, роман создаёт поэтический мир, в котором вещи помнят своих хозяев, души странствуют между мирами, а любовь оказывается сильнее времени.

Содержание

Душа лисы	4
Мама умерла	5
Дед	18
Ото Татибана	28
Больница	58
Военный поход	63
Конец ознакомительного фрагмента.	108

Александр Бородин

Душа лисы

*Одним детям:
Серёже и Мише.*

*Сердце –
написанный тушью
ветер сосен.*

Иккю Содзюн

Душа лисы

Глава I

Мама умерла

В прошлом году погибли родители. Курск.

Недавно меня поместили в лечебницу.

Помню, когда мама стала строгой. За три года до смерти.

Мама любила вещи; и непослушные. Для неё они были детьми. Мама радовалась, – как вещи валяются. Валяются, говорила, – играют, – в беспорядке. Знала, что они прячут себя.

И вещи любили её – маму. Пухлый гребешок взбивал ей волосы. Сердитые туфельки ласково обнимали пятки. Пожилые страницы шуршали в пальцах.

Мама стала учительницей, – из-за этого.

Нейромедиаторы словно шарики деревянной головоломки. Они занимают – каждый свою впадинку. Нейроны педардами запускают острые искорки. Тетради раскидываются под склонёнными головами. Обезвоженные, жадно впитывают синюю жидкость. Жидкость стекает по давящей сфере. Ленивый юный мел сбрасывает чешую. Им почёсывают о чопорную доску. И мел становится кем хочет. Мягкой пылью, обезболивающей уставший пол.

Мама любила всё это видеть.

Как страдали рамки на стенах. Были не теми, кем хотели. Рамка Достоевского мечтала заключать Толстого. Вечно простуженная рамка Толстого – Достоевского.

Любила касаться ладонью стен дома.

Степennyй дом, который называют школой. Хранит под кожей учительские сплетни. Огорчения из-за оценок, ненастоящей любви. Хранит, не выпускает на улицу. Впитывает, вливает в сумасшедший кисель. Все равно никто не пьёт. Дом разрешает – по-стариковски веселясь – окнам. Окнам – нервно трепещущим – синевато изогнутым. Разрешает впускать дразнящий апрельский воздух. Дразнятся ноздри, затылки и коленки.

Мама любила колдовать элементами вещей. Сухая ладонь на волосах учеников. Они уложили всё в ячейки. Их ручки остывают, тетради пухлы. Тихий воздух, электрическое стрекотание ламп. Одинокие стены, грубые языки углов.

Мама любила вещи, вещи – её.

Весь подоконник был засыпан снегом.

Молодой мама говорила про природу. Различные формы: живая и неживая. Дышать, испражняться, потеть и сокращаться. Только одна форма это может. И только объекты живой природы. Неживые объекты осязаемо вольно влияемы. Живые объекты также могут умереть. Они бывают больными и здоровыми. Они бывают удачными и неудачными. Это сравнительные описания, лишённые определённости. Всё постигается сравнением с чем-то. Лишено определения через само себя. Это совсем неправильно, – мы торопились.

Мы шли из детского сада. Мама вела меня за руку. Она в

лёгком белом платье. Я – с прогулки до ужина.

Мама сказала, как узнала это. Конечно прочитала в книжке, – улыбнулась. Она остановилась, чтобы улыбнуться, наклонилась. Её привёз папа из экспедиции. Её палец тронул мой нос.

Живой – не значит противопоставленный вещи. Мама щурилась с хорошим зрением. Быть вещью – жить другой жизнью.

Мы никогда не отпускали рук. Она брала меня за руку. А я – тянулся к её. Её смуглая кисть была узкой. Даже для моей детской ручки. Пальцы – тонкие – всё время дрожали. Хотели выпорхнуть из моей ладони. Было – они уже почти вылетали. Мама крепче сжимала мою руку. И вся оставалась на месте.

Мы не сразу шли домой. Потому что тогда было лето. Летом мы шли в пиццерию. Летом папы не было дома. И поэтому никто не готовил.

Мама рассказывала о школьных предметах. Школьных природоведении, физике и химии. Они изучают живое и неживое. Но это буквы без тишины. Мама останавливалась, наклонялась ко мне. Попробуй сказать слово без тишины. Так – без тишины между буквами. Я – останавливался – даже не пробовал. Я не понимал – как это. Слова нет без тишины – вот. Повар – через дом – выпекал пиццу. Вдавливал пузырьки воздуха в тесто. Закупоривал их слоем томатной пасты.

Потом я съедал маленькую пиццу. Сначала – все-все колбасные просфорки. Сморщенные оливки я отдавал маме.

Она всегда брала серебряную чашу. В ней – два шарика мороженого. Их заливали прохладным черничным вареньем. Я так хочу уроки тишины. Ложка нагревалась от её дыхания. Мама смеялась, ложка плавил мороженое. С самостоятельными работами по тишине. Я – напротив – смотрел на неё. Я уже доел свою пиццу. Уголки рта раскрашены оранжевым маслом.

Мы шли домой за руки. В туалете нарисована принцесса-лебедь. Рука – вымытая дважды – была жирной. И мне жалко пачкать мамину. Её ладонь – сухая и горячая. Я клянусь не есть пиццу. Лебеди, – повторяет мама поверх слов.

Потом – мамина кисть стала уже. Кожи на ней стало побольше. Под ней появились толстые сосуды. Они тогда питали мамины косточки. Чтобы косточки не уменьшались сильнее.

Потом – мама вышла на пенсию. Она заметила, – вещи слишком разболтались. Пуговка вылезала из нитяной петли. Лифт хулиганил с тормозными колодками. Вдруг – прижимал их к рельсам. Решал их защекотать, они визжали. Лампа в парковом фонаре – отмаргивала. Венский, как будто бы, полонез.

Тогда мама поступила обратно Богу. Она ушла от Нового завета. Тот – радуясь – наблюдал за свободой. Никто не любит Бога свободы. А мама перешла к Ветхому. Она дер-

жала вещи в испытаниях. Больше строгости и меньше любви. Вещи смущались, как пойманный ребёнок. Пойманный громадной и сердитой лапой. Вещи трепыхали и обожали её. Как положено расхулиганившимся ветхозаветным детям.

Поэтому мама и выбрала папу. Самого хулиганистого и самого серьёзного.

Мама строжила вещи – он подмигивал. Он подмигивал мне, – и молчал. Я сообщник папы и вещей. Вещей, которые решали поднять бунт. Ища лидера тянулись к папе. Самые буйные заговорщики – на кухне. Мама вставала на ребристые весы. Пухлая стрелка – за пределы шкалы. Они соглашались показать правильное число. Но после переворота их папой. Он изображал задумчивость, хмурил брови. Смотрел на надпись про чайну. Банки охраняли недостижимый маме звук. Сжавшись, папа мог открутить крышку. Пульт выносил только папины пальцы. Подушечки вжимали в тело резину. Пульт заставлял телевизор перестать искажать. Растрепецивались бубнящие об угрозах ведущие. Холодильник грозил и ждал папу. Ему – с зевком показывал внутренности. Включенный мамой чайник вечно кипел. Я всегда был сообщником папы. И любил его больше мамы. Хотя мне горько это говорить.

Недавно я думал, – почему так. Мама – громадные глаза – любила двоих. Любила меня и любила папу. Мои нейронные контуры выстроила она. По примеру самой счастливой любви. Мама знала её – к папе.

Моя маленькая, черноволосая, кареглазая мама. Похожая на воробушка – моя мама. К папе – в руках кораблик. Он уплыл, нарисованный на стакане. По столу – папе от мамы. Матроска обнимала сидящего папу полосками. Папа держал кораблик, подмигивал мне. Подмигивал мне: и из-за кораблика. Подмигивал мне: из-за хлопнувшей форточки. Подмигивал мне: ещё из-за трамвая. Трамвай звякнул в открытую форточку. Трамвай всегда был самым своенравным. Ещё с самой маминой молодости. Никогда не признавал её власть. Она возмущенно крутила его прорезиненную ручку. Билетная будочка дрожала и клацала. Но талоны отдавала только папе.

После гибели родителей вещи остались. Торшер, салфетки и мамино трюмо. Грязная алюминиевая ложка за шкафом. Галстуки, банкетка, шерстяное платье, сандалии. Кисточки, карандаши в ячеистом стакане. Ещё треснувший молодой пластиковый тазик. Все они стали оторопело бездвижными. Я выходил на асфальтовую улицу. Плавающее солнце давило меня фотонами. Пыталось скопить критическую их массу. Взорвать меня их невесомой тяжестью. Солнце давило и других людей. И они отходили в тень. Раскрывали свои глаза в темноту. Наклоняли головы, выбрасывали лишние фотоны. Из узких кружков своих зрачков.

На шторах дырки от сигарет. Это друзья отца – обоженные моряки. Напились, много говорили, случайно прожгли.

Я тогда совсем не справлялся. Весь день – тело, растерзан-

ное бессонницей. Мокрая судорога, сухая полость рта. Ночь зевает рядом с тобой. Умирает, быстро сожранная слабым рассветом. Сбитая простыня, жадный крюк люстры. Слабая кожа, лежащая на мышцах.

Выходил на мост – бессловесный блеск. Слепящие плевки рыб, замершие водомерки. Круглые глаза чаек, глаза рыб. Река сверкает – сон у телевизора. Свет выбивает сталь из окна.

Тучи неслись, как мысли электрички.

Мелкий дождь растворял весь мир. Тяжелая лапа трамвая била рельсы. В витринах кафе сгорбленные люди. Пластиковые листы меню; исчерканные столы. Ноготь напротив американо, кивок официанта. Мигнувший свет бра; жир эклера. Её рассказ, красные ногти, вода. Его рука за спинкой стула. Музыка не слышна за витриной.

Выломанная клешнями стена старого кинотеатра. Фотография мамы с подружкой; афиша. Чёрно-белое кино, летние платья. Царапины бетона, белые царапины фотографии. Путешествие на теплоходе; шахматная задумчивость. Белые сгибы; бумага прорвала глянец. Отклеившиеся карманчики-уголки; толстый картон.

Студент пьёт кофе на лавочке. Стихший от безнадёжности голубь-попрошайка.

Подошёл пёс, ткнул мокрым носом. Я поискал глазами подвальный магазин. Купил ему колбасы и воды. Он ел; пил, расплёскивая вокруг. Асфальт; чёрные пятна, выброшенные

языком. Пёс наелся, ссутулился и ушёл. На амбаре висел раскрашенный замок.

Капля бензина расплылась в луже. Крыло стрекозы, рождённое без тела.

Вошёл на рынок, пахнувший водорослями.

Вышла, смеясь, толпа, тоже успокоилась. Дама как-то нехорошо дёрнулась туловищем.

Круглый стол, выложенный мелкой плиткой. На него страшно лечь зубами. Чернота под столом – глубина моря.

Рыжие лица фруктов; продольные рты. Лежат, перевернутые, друг на друге.

Охранник растворял в стакане витамин.

Рыбы; их толпой лишили волн. Вздыхали, раскрыв раненные крючьями рты.

Сонный и грузный торговец мёдом.

Скользкая грязь ползла нечистыми насекомыми.

Дышала огнём торговка на торговку. Сбрасывал пепел под прилавок усач.

Расчесавший укусы бледный мальчонка; распухли. Мама смотрит на яблоки, дыни. Продавец кладёт два лайма сдачей. Мальчонка держит маму за пакет. Та устало отмахивается от пальцев.

Торгующий шкурами повесил музыку ветра.

В углу мясницкой висит распятие.

Тёмный угол светил черепом коровы.

Заклинатель змей устало сложил руки.

Бездомная кошка вылизывает бок второй.

Заснувшая подушка в распахнутой подсобке. До зимы повис пухлый пуховик.

Ребёнок с синей пластмассовой саблей. Белая полоса поперёк, видимо, погнул. Видимо, ударил ей о стену.

Вывеска качается лупоглазья нарисованную рыбу. Цепи скрипят зубами и мучаются.

Уборщица осыпает опилками пепел; сметает.

Выпуклый лоб рыбины, ямками глаза. Стукает лбом стекло, чернит ямами.

В тулупе шаман, рядом лиса. Безумная, раз вышла к людям. Зажигает раскосые глаза шамана, лает. Раскрывает горячую пасть, показывает десны. Обходят шамана люди, обходят лису. Он кидает ей мясо, уходит. Лиса глядит и лает хрипло. Грязное мясо и чёрная кровь. Лиса убегает вглубь рядов; взвизги. Бледная пустота между густыми рядами. Ноги, обутые в ботинки, сандалии. Кто-то бросил сигарету, красный уголёк.

Спрут в густой воде аквариума. Тянет щупальца из узкого прямоугольника. Затягивает в свою кофейную бездну. Продавцов, кафельный пол, брызги крови. Пятна твёрдых луж, меня, город. Остаются такси, огонь и иглы. То, что позволило бы выбраться. Кто-то выходит ощупью, кто-то засыпает. Кто-то ложится у спрута – умирает. Кто-то царапает тонкие стёкла аквариума. Я царапаю тонкую кожу запястий. Розовая жидкая кровь лезет наружу. Спрут говорит: уходи, не нужен.

Улица пылью мучает кисти рук. Чужие глаза заставляли меня отворачиваться. Старушечий окрик переходил дорогу красным. Расползшаяся земля под колёсами трактора. Выпотрошенные рёбра асфальтовых дорог; прутья. Падающий вниз пух; рук прах. Окрик старух и взвизг зверья. Гогот птичьих стай; проросшие прутья. Тайное слово дней: беги, беги. Тайный шепот травы: пригнись, ляг. Мёртвые травы, сложенные за рёбрами. Дом, пыль, глаза, дорога, право.

Тля ворошила плоские мясистые листья.

Я вернулся домой; хрипнул паркет. Снег не растаял на подоконнике. Я сел за письменный стол. Разводы дерева под стеклянным лаком. Пустая поверхность; нет ученических тетрадей. Нет журнала; фигурки круглой земли. Я заглянул под стол; ножки. Я написал на снеге буквы. Снаружи жгло зноем; чужая высота. Безразличный воздух, тихие окна, свет. Бесконечное количество воздуха снаружи окна. Рвётся квадратом в тёмную комнату. Чужие буквы на сухом снеге.

Пришел на работу в лонгсливе. Но в КБ заметили, – глазами. Грязно-красные бинты под рукавами. Надежда Константиновна выбежала, Алексей подошёл. Потушевался, положил руку на плечо. Тут же отдернул; за спину. Из коридора быстро – начальник отдела. Локоть, отвел меня в кабинет. Там, где раньше сидела копировальщица.

Теперь редко чертят за кульманом. Я и сам – только эскизы. Впрочем, зря, мне ведь нравится. Нравится шерша-

вый запах ошкуренной доски. Двигать каретки, пластиковый скрип шарнира. Но всё должно двигаться вперёд. Ничего не поделаешь, двигаться, двигаться. В отделе стоят два кульмана. Но все чертят в программе. Мы вбиваем координаты в строку. Серый крестик невидимо – на место. Не перемещаем линейки по ватману. Эскизируя, смотрю на лист сбоку. Будто мелкую белую пыль стряхнули. Приклеили на поверхность мёртвого дерева. Она обдирает собой слои углерода. Сейчас, лежа, я представляю это. Я веду карандаш по листу. Мурашки; я могу давить сильнее. Тогда чёрная косточка оползает больше. Передавленный грифель ломается и прячется. В зло оцетинившейся деревянной оправе. Никто не стоит за кульманом. Никто не обводит тушью чертежи. Нет синек, и копировальщицы нет. Оставшиеся архивы в её кабинете. Потухшие от бывшего страшного гнева.

Я работаю инженером, конструирую краны. Им – инженером – стал после курсовой. Я сейчас думаю об этом. Смонтировал курсовой редуктор вверх ногами. Так ничего работать не будет. Толстые линзы преподавателя преломляли лист. Такая постановка возможна, – извернулся, доказал. Смех, только за находчивость оценю. Безотрывно катил измаранным чернилами шариком. Синий жир на податливой бумаге. Кругло выведенное «отлично» в зачетке.

Безразлично ко мне стоящий кран. Родившийся из прыгнувшего ниоткуда пикселя. В место, которое указал я. Мне и сейчас это нравится.

Начальник отвёл меня к копировальщице. Провернутый, вынутый из замка ключ.

Я стоял, опираясь на стол. Начальник безотрывно смотрел в окно. Несколько слов будто по работе. Не связанные между собой слова. Выдохнув слова, взглянул в окно. Я тоже – машинально – выглянул наружу. Громадное окно цеха – металлические квадраты. Мокрая дорожка с тонюсенькими берёзками. Скульптура рабочего в широкой одежде. Повернуть голову влево – морковная столовая. Не хотелось искать связь слов. Я отвернулся, вернее, опустил голову. Смотрел на истёртый линолеум, квадраты. Начальник больше ничего не говорил. Худой мужчина в коричневом костюме. Смотрел и смотрел в окно. Один раз зачем-то сказал «да». Вскоре в дверь вкрадчиво постучали. Технолог, узнал её по стуку. Разговаривала также вкрадчиво, как уролог. Начальник вынул из кармана ключ. Начальник впустил в кабинет врачей.

Долго везли в полутёмном кузове. Долго – уже в клинике – оформляли. Клиника в низеньком беспмятном здании. Сидел на обитом дерматином стуле. Боялся пошевелиться – искусственная кожа треснет. Сдвинуться, – и разойдутся грязные морщины. Изломанная рана, бледно-молочная изнанка. Дыша тишиной записывали мои характеристики. Будто хотели испытать на изгиб. Переодели и объяснили где курить. Изучили мою сумку и вещи. Убрали которыми меня можно повредить. Медсестра закрыла с ними зиплок. Медсестра проводила меня в палату. Лёг в кровать у окна. Я устал и

мгновенно заснул. Кровать пахла резиной, резиново взвизгивала.

Плотная ткань испуганного костюма начальника. Ткань, согнутая утюгом вдоль брючин. Перламутровый лак жаждущих ногтей технолога. Провела по гладкой фанере двери. Ещё закрытая дверь после стука.

Глава II

Дед

Моего деда арестовали на улице.

Он – студент – возвращался из радиотехнического. И к нему подошли двое. С этими двумя были понятия.

Строился город Березники на Урале. Запланированное место для химической промышленности. И деда увезли на стройку.

В березниковских бараках уже жили. Пленные солдаты и депортированные немцы. Немцев было больше; часть – волжские.

Дед сторонился немцев; холод затылка. Они смотрели стеклянно и прямо. Они смотрели, не отводили глаз. Дед знал, что они – убийцы. Убивали точно таких, как он. Они не должны так глядеть.

У многих немцев были очки. Круглые, в роговых оправках, металлических. Дед складывал из пальцев кольца. Прикладывал к глазам, показывал немцев. Как они ходят – прямыми пальцами. Спокойный и надменный немецкий шаг. Как берут ладонями нашу землю. Псаммозем в плоских белых ладонях. Говорят о будущей католической церкви. Березниковская церковь – в их ладонях.

Дед сдружился с пленным японцем. Морщинистым, сильно коричневым, очень худым. Гораздо уже тощего семнадцатилетнего деда. Японца захватили как языка – там. Привез-

ли сюда с Дальнего Востока. Захватил разведчик из посёлка Пожва.

Пожва оказалась недалеко от Березников. Всего шестьдесят километров по Каме.

Я съездил туда, в Пожву.

Теплоход дрябло плыл по Каме. Касался причалов Тамана и Городища. Полуголый человек вечно крутил колесо. Оно опускало мостик, выгибаемый ногами. Брюхастые рыбки плавали в спине. Выцветшие татуировки, провалившиеся в тело. Крутил колесо; крутил косточкой локтя. Люди жадно садились в теплоход. Спины курток, обвитые усами рюкзаков. Мягкие книжки, вспотевшие от воздуха.

Кама раздвигала ветви пожилого леса. Теплоход плыл, цепляя ноготками воду. Ползло небо над каменной Камой. Маслянистые чебуреки вываливали серые внутренности. Тамбур пах краской; хрипло кашлял. Теплоход плыл, трясь трещинами, хрустя. Одержимый нищий дрожал тощей ногой.

Я спускался к пожвинскому пляжу. Купался в холодной воде реки. Слепни пробивали кожу; убивал их. Мама стелила полотенце; редко купалась. Сидела, смотрела на меня; шурилась. Сухой ветер смазывал ставропольский загар. Оставлял веснушки, морщинки; выбеливал волосы. Мама любила простую жизнь ветра.

Я выходил на запах хлеба. В сельпо лампочка сорока свечей. Светился хлеб в угольной тьме. Светился белоснежный

халат маленькой продавщицы. Жужжала и извивалась липкая лента.

Я попал на выступление вепсов. Это небольшой финно-угорский народ.

Один из вепсов был светлоусым. Он – мужчина – выделялся невероятной длиной. Белые ресницы остальных – коренастых тётушек. Красные юбки с шипастыми ладьями.

Челюсть щуки на узком шнурке.

Когда озеро закипело, светлоусый рыбачил. Пришлось высадиться на каменистый островок. Спящий камень толсто накрытый мхом. Через остров прыгал скелет касатки. Выныривал с одной стороны острова. Касался молочным черепом – с другой. Обжигал пористыми каплями пресной слюны. Брызгал тенью, выскобленной бездной белизной. Погружал слепые глазницы в воду. Рыбак понимал, касатка утащит его. Он молился; выдавленная влага мха. Он понимал про равенство богов. Тех богов, которые были раньше. И богов, которые есть сейчас. А нынешние боги – как люди. Они спят или безумно бормочут. И потому рыбак молился себе. На остров из воды – женщина. С вытянутым от усталости лицом. Она отдала рыбаку челюсть щуки. Распахнутую, с холодно натыканными зубами. Рыбак проколол зубами свою ладонь. Показал вымазанную кровью челюсть касатке. Она исчезла и шторм прекратился.

Вепсы пели песни и покачивались. Светлоусый бил по нескольким инструментам.

Надолго ложиться на землю нельзя. Она вынет из лёгких душу. Я знал это, но лёг. Рядом стояла истерзанная, изогнутая берёза. Ко мне – слева – подошёл светлоусый. Показал пальцем на зубастые листочки. Плавают с ветки на ветку. Видишь, поёт птичка-рябчик, проклятая?

Он назвал себя Куль – светлоусый. Низко наклонился, прямое длинное тело. Повернул носом ко мне лицо. Рот без двух передних зубов. Они торчали изо лба, – рожками.

Попросил вынуть скорлупу из глаза. Наклонился сильнее, прижал к себе. Он возил меня по земле. Я вынул руку, придавленную Кулем. Красный бугорок угла чужого глаза. Я достал острый маленький кусочек. Я поднёс кусочек к носу. Молочная скорлупка дрогнула и выгнулась. Раздулась в склизкого полу-ужа. Полу-паука и полу-слизня. Укусила за палец – я вскрикнул. Стряхнул эту тварь – палец распух.

– Бойся, – сказал Куль, – бойся, бойся. Я создал землю, когда испугался. Она пропитана страхом и ненавистью. К брату, – слепому и глухому. Ну, дай мне свою футболку!

Я приподнялся, оперся на локти. Куль стянул футболку с Игги. Раскрутил над головой, черный круг. Стукнул о землю, каменная ткань. Сложенные морщины у глаз Игги. Из них сложился пыльный вихрь. Прошелся по горе, обнажая угли. Спустился в балку, спрыгнув справа. И умчался – взлетая – на восток.

– Чаю, чаю белых заячьих лапок.

Куль схватил солнце, пошвырял, поподкидывал. Дул на

пальцы и хохотал. Ухнул, отпустил – солнце вспрыгнуло наверх. От испуга забралось ещё выше.

Стало прохладно, земля отбирала тепло. Я повернулся набок, поджал ноги. Что-то резко их дёрнуло вниз. Выкрутило меня обратно на спину. Куль погрозил солнцу указательным пальцем. Оно опустилось на положенную высоту. Были видны следы пальцев Куля. Он снова склонился надо мной. Я смотрел вверх за ним. Пышный отросточек облака в небе. Куль взял его щепоткой пальцев. Я был в ярком жаре. Куль положил облако на меня. Его душная влага остудила меня. Холод земли – грузное лезвие рубанка. Он начинает срезать волокна мышц. Он останавливает кровь, сдавливает лимфоузлы. Меня колотило и я мёрз. Куль поднял облако, голубые глаза.

– Знаешь, почему небо так высоко? Вот посерькал отпрыск у бабы. Вытерла зад она отпрыску блином. – Тётушки-вепсы взвыли брррр; лады. – А блин прилепила к небу. И, конечно же, небо обиделось. Стало недостижимым человеком и животным. Таким, которые могут сделать блины. На молоке и пищевой соде. С вареньем, маслом и сгущенкой. Только птицы могут задеть небо. И насрать на вас сверху. А еще знаешь про политрука? Почему лысый политрук просыпается ночами? Да не просто так просыпается. Просыпается ночами извазюканный в говне!

Куль обернулся и подозвал женщину.

– Баба, что это за камень? – Он показал, вывернувшись

назад, рукой.

– Как что это за камень? Не камень, поцелуй Богородицы ведь...

– А что ты маешься около? Надо тебе если, то задень!

– Так ограда ведь, ночью задену. Ночью ограды не действуют ведь.

Куль наклонился носом к уху. Он шептал сквозь длинные зубы. Этот камень Богородица Дева поцеловала. Губы след на камне оставили. Вон бабы – и издалека приходят. Губы каменные поцелуют – родить смогут. А поп оградой камень огородил. Сказал, что поцелуй не зафиксирован. И это значит – ведомо – язычно. Ведомо ему, язычно ему, фиксированно! Вот Илья в воду писает. И то – попу – не ведомо! Оградой камень поп и огородил. Сказал, – грех и милиция заберут. Если кто – баба – ограду переступит. А лысый политрук выслужиться захотел. И говном губы Богородицы вымазал. Только теперь он каждую ночь... Куль захохотал широкими ноздрями носа. В нужник ходит не просыпаясь. А просыпается – в говне вымазан. Он ещё весь – безволосый всюду. Везде вымазан, где волос нет. А камень, знаешь, кто это? Я шмыгнул – чувствовал начинающуюся простуду. Камень – это сам Пера-богатырь. Он сын самой Пармы-тайги. Богородица поцеловала его – тайге видеть. Чтобы тайга уговорила Перу сдаться. Оставила ему Богородица клеймо позора. Чтобы сдался Стёпе-угоднику Пера. Чтобы тайга уговорила – клеймо позора.

Пера боролся с вашим Богом. Тот превратил Перу в камень.

Он говорил злым, плохим голосом. Я устал прислушиваться, закрыл глаза. Из грустной церкви вышел поп. Он поднял меня на руки. Сильный, как все православные попы. Сделал несколько шагов – к поленнице. Положил на неё; древесный скрип. Нельзя на земле лежать, – сказал. Она всю душу твою вынет! И я – выпотрошенный землей – уснул.

В паспортном столе хрустальная рюмочка. В ней цветок фиолетовой кашки. Стоит на пузатом одышливом столе. Свежевыкрашенный пол; пылающие солнцем стены. Терпеливый замиокулькас; чашка воды рядом. Дерматиновая дверь, пухая, прижимала сени. Ни у кого нет справки. Никто не знает дедова японца. Впрочем, рассказывают про Александра Ивановича.

Его – отцовская – семья вообще знаменита. Отец до Гражданской был кулаком. Разведчик – один из восьми братьев. В Войну всех братьев призвали. Семья была из священнического рода. И сестра воюющих братьев молилась. Все военные бездонные дни – Богу. И каждый из них вернулся. Все они вернулись без ранений. Только у одного случилась неприятность. Упустил в бою знамя полка. Был лишен наград и выплат.

Разведчик долго служил на Востоке. До самого сорок седьмого года. Японца привезли в сорок третьем. Это я знал от деда. Больше никто – японца – не знал. Ни в Березниках

не знали. Ни в Пожве, вообще ничего. Разведчик умер в девяностые годы. От цирроза печени; короткая болезнь. Я – Александра Ивановича – не застал.

Японец спас моего деда там. Думаю, ему было очевидно – почему. Подросток не выдержит ломовой стройки. Валили лес, расчищали заводам пространство. Бревна леса часто увозил поезд. Японец спрятал деда между брёвен. Дед выбрался, скитался, заметался, молчал. Наконец, успокоился в пустом Ставрополе. Там уже родился мой отец. Там, где родился и я.

Дед не возвращался в Таганрог. Не был там и отец. А я съездил; прозрачный поезд. Отвернувшиеся от моря портовые краны. Одинокий песок у худой воды. Кривые синие-зелёные зубки-водоросли. Склонившиеся стрелы, низкие крыши, пыль. Длинная лестница к солнечным часам. Маленький красный домик колониального чаеоторговца. Опаздывающий мужчина, завернувшийся в плащ. В прямоугольных окнах огоньки плит. Их прячут под выпуклыми чайниками.

Я ходил по невысокому городку. Он мог бы быть моим. И – был чужой; крик баржи. Чужое солнце влажно хватало плечи. Чужие автобусы объезжали разрушенный асфальт. Чужая трава выползала между рельс. Я уехал, больше не возвращался. И я больше не вернусь. И уже никто из нас. Город – я ходил и смотрел. Лица чужих людей; стрелы кранов. Кто-то написал донос на деда.

Главный архитектор Березников проверял людей. Подходил к деду с японцем. Слушал, наклоняясь, как они разговаривают. Меняют ненайденные слова на кивки. На улыбки, паузы, хруст веток. Вливая в кружку чёрный кипяток. Архитектор терпел неизбежную уральскую ночь. Серую летом и глухую – зимой. Она разрушала его завоеванную власть. Хот немцев у костра; песни. Выползшие запахи, сырость, заперщённое сердцебиение. Архитектор делал вид, что спит. Становился слухом, аурой крови глаз. Архитектор просыпался и жадно зевал. Архитектор хохотал и раздувал пламя. Делал темнее сумеречную березниковскую ночь. Высыпал уголь из пиджачных рукавов. Уголь пульсировал огнём – в костёр. Архитектор поочерёдно моргал тысячью глаз. Архитектор сдвигал неправильно уложенные плиты. Пересаживал тополя, выгребая корни ладонью. Лил на землю расплавленный металл. Ковал, щелбанил ногтями, портовые цепи. Перешагивал жижу будущего стадионного поля. Уходил в порт, боролся с Камой. С острой – за зелёную скорлупку. Ловил её, пристёгивал к сваям. Слезы хохота падали в землю. Они прорастали кристаллами, съедающими воду. Архитектор говорил японцу про тополя. Они – густо выпускающие невесомые хлопья. Они сделают Березники – летом – Японией. Равными твоей, японец, весенней стране. Он подходил к сваленному лесу. Он хохотал, задевал рукой брёвна. Он превращал брёвна в змей. Они качались толстыми скользкими боками. Шипели на жуткий хохот архитектора. Тот приказывал

вал жирным змеям сдвинуться. И они расползались в стороны. Но одна змея укрыла деда. Змея укрыла меня, говорил дед. Одна змея укрыла, говорю я. Одна змея, укрыв, проглотила его. Архитектор просвечивал глазами тьму змей. Поезд прижимался к запаху креозота. Поезд опирался на зеркала рельс. Змея, проглотившая деда, вытянувшись, замерла. И до Ставрополя он лежал. Укрытый тёмной и горячей змеёй. Тёмный и горячий коридор психбольницы. Коридор, который заканчивается головой палаты. В пасти которой укрыт я.

Мы всегда найдём возможность скрыться. Что-то такое говорил японец деду. И Березники скроются под землю. Когда распадётся страна; скрип костра. Распадётся энергия архитектора; умирание леса.

И японец рассказал деду сказку.

Глава III

Ото Татибана

Император Кэйко опирался на посох. Он смотрел на сына – принца. Принца – смелого, безрассудного, и – самурая.

Все любовались им, принцем Ямато. И принц Ямато знал это. Ива любовалась тысячью раскосых глаз. Узкие пчелы висели в воздухе. Пыльца кипела мёдом в брюшках. И жаворонок был опутан вьюном. Крестьянская песня трепетала коснуться ушей. Смерть ждала времени голодного поцелуя. Только липкий огонь был слепым. Огонь полз вверх по монаху. Коричневые губы молились монашескому ничто.

Принца Ямато жертвенно любила жена. И жертвой отдалялась от принца.

Принцесса Ото Татибана всё видела.

Принцесса жадно ловила последние дары. Они висели, как слюни волка. Слюни загнанного в ловушку волка. Волк лязгал зубами; дрожащие дёсны. Харкающий вой на искаленную луну. Лопались струны капкана, стон счастья.

Император Кэйко тихо подозвал Ямато. Принц подошел, поклонился; зной, пот.

Император видел этот жаркий сентябрь. Император видел свою молодую страну. Она уже была страной Ямато. Потому что императору снился кошмар. Страна императора была объята чумой. Страна императора была выпотрошена, безглаза. С лопнувшим гноем под мышками. Снования мокрых

от страха советников. Толкотня тёмных городов его страны. Советники во тьме отдавались зверю. Мрак его глаз, липкое брюхо. Страна императора Кэйко была адом.

Император проснулся с заложенным носом. Пытался очиститься, откашливался и откашливался. Слизь лежала за недостижимым язычком. Залепила уходящую куда-то вверх полость. Ничего не помогало; ворсинка циновки. Он долго глядел на ворсинку. Он долго глядел на ворсинку. От лежания свесился раскрытый рот. Он был измучен и стар.

Порог; император вышел во двор. Его страна страдает с ним. Его страна всегда с ним. Но страна отдалась любимому сыну. Она была молодой и сильной.

Остров Кюсю страдает от разбойников. Банда, – сказал смотря поверх плеча.

Император поручил расправиться с ними. Для этого я подзвал принца.

Император всегда ловил все шорохи. А сейчас хотел только тишины. Долго лежал в багровой темноте. Заболели мышцы и кости; ворсинка. Он придумал, – перестать быть человеком. Острым и гладким, как копьё. Быть с головой без ушей. Узнавать только картинки с запахами. Император полюбил запахи и вкусы. Еды, девушек, воинов, животных, земли. Доктор склонялся над ночным горшком. Император склонялся над ночным горшком. Радовался вони, ел жирное мясо.

Принц Ямато любил военные походы. Любил холод грани-

цы посередине тела. Как размывалась граница, возведённая страхом. И всего его – наполняло решимостью. Быстрого, молодого, неуязвимого принца Ямато. Любил запах пепла, вспыхивающие огни. Гаснущие голоса и блеск крови. Влажную краску пылающего жаждой солнца. Хищное скольжение лодки в черноте.

Ото Татибана следовала за ним. Из одного похода в другой. Она сидела в трюме, палатке. Жирные звуки стали в мясе. Густые звуки, ползущие немой землёй. Садилось солнце, наплывали тени ужаса.

Эта дорога никогда не кончалась. Бесконечно принцесса выходила на палубу. Бесконечно качалась в низком паланкине. Бесконечно Ото Татибану обжигало солнце. Укусы морской воды рвали платья. И пыль, вонь, грязь, камни. Сильнее всего она ненавидела пыль. Завтрашнюю грязь; Ото Татибана отряхивалась. Но пыль пачкала пачкала пачкала. Ткань, запястья, края рукавов, щиколотки. В уголках глаз, уголках рта. Подчёркивала, будто тушью, морщины, оспинки. Красила серым волосы, соляная глина. Один поход переходил в другой. Как жизни убийцы, обугленные страстью. Кожа Ото Татибаны стала грубой. Одежды были грязны и залатаны.

Ямато рассказал о новом походе. Принцесса Ото Татибана улыбнулась мужу. Он тоже улыбнулся, вожделие зноя. Погладил жену по щеке; цикады. Принцесса Ото Татибана наклонила голову. Прижала кисть мужа к плечу. Долго держала кисть, закрыв глаза. Ямато хотел убрать её; цикады. Не

убирал, тёплая кожа принцессы. Он чувствовал тепло её кожи. Чувствовал прижатые мягким костяшки кисти. Больше он ничего не чувствовал.

– Кюсю – это южный остров, – сказал. Освободил руку, улыбнулся; плавающий стрёкот.

Южный остров, солнце будет обжигать. В чёрной тьме будет спасенье. Они улыбнулись друг другу; цикады.

Ямато не любил военные приготовления. Только обошел все храмы Исэ. Просил благословения богиню солнца Аматаэрасу. Этого требовала традиция, приторный дым. Обходил один храм за другим. Он сдерживался, терпеливо немя сердце. Прятал лёгкими единственную искреннюю молитву. Ждал любимого храма, оставленного напоследок. Говорил все необходимые слова Аматаэрасу. Чувствовал дыхание, заполняющее сентябрьский воздух. Полёт чаек, кричащих, зовущих морем. Закрывал веки, воспалялся песком будущего. Ждал в тусклой тишине настоящего.

Мягко струящиеся события несли его. Вынесли его к любимому храму. Ржавая богиня, обглоданный жуком можжевельник. С зеленью, торчащей из углов. Живой храм – кроткий и затаившийся.

Бесшумно вышла тётка принца Ямато. Как и в детстве – она. Жрица в храме, кожаные сандалии.

– Твоё появление угрело моё сердце.

Как в детстве, сказала Амайя.

Влажные листья жёлто-зелёного хмеля. Свисал с перекла-

дины, лизал дерево. Шемя досками тосковала вздернутая крыша. Кружили высокие чёрные точки птиц. Улыбающаяся Аматарасу, несколько неподвижных пламён.

Ходил сюда с высоким отцом. Возил фигурки богов по полу. Отец разговаривал с сестрой, сандалии. Позволял себе смеяться, только здесь. Смеялся только с сестрой, высокий. Тётя улыбалась, не открывая рта.

Ямато попросил у богини благословения. Тётка стояла сбоку, длинные руки. Выслушала племянника и вышла, шорох.

Амайя вынесла богатое шелковое платье. Сказала, что оно принесёт удачу.

* * * *

Как тиха была земля Кюсю. Они были тихи – команда принца.

Пыльный, влезаящий в зубы, ветер. Бледная глина, глубокая тьма трещин. Всё – вдаль, вбок – было одинаковым. Ключья стеблей, скрюченные волосья деревьев. Ошпаренное точкой солнца густое небо. Резко вычерченные тени, скелеты рыб. Отступившая задохнувшаяся вода, выпотрошенные камни.

Самурай Изаму сходил в разведку. Сказал, что бандитов около пятидесяти. Они разбили лагерь за болотом. Из-за жаркого лета река обмелела. Ушла под ил, оставив стебли. Размягчила и подняла непроходимую глину.

– Короткий и неожиданный бой невозможен. – Ямато вра-

щал в руках палочку. Пальцы чувствовали приятную тонкость коры. – Рывок невозможен и надо схитрить.

Ото Татибана замерла в тени. Закрыла глаза и ждала ночь. Принцесса сохраняла холод своего тела. Принцесса замерла под тремя кимоно. Она знала, – муж найдёт выход. Принц Ямато не мог погибнуть. Принц Ямато не мог проиграть. Не могла погибнуть её любовь. Не могла проиграть её любовь. Любовь Ото Татибаны к Ямато. Не будет испорчено лицо Ямато. Не будет испорчено тело Ямато. Вспыхнет падающая звезда перед росой. Он – плач цикад перед звездой. Он – правило; то, что происходит. Он то, что есть всегда.

Она подошла к повару Яхаре. Тот готовил ужин, очищал рыбу. Принцессе Ото Татибана нравился Яхара. Высокий, длинные жилы вдоль рук. Любила сидеть рядом с ним. Любила наблюдать этот танец повара. Он не мучая разрезал мясо. Шинковал овощи и рвал зелень. Ссыпал нужное в пузыри воды. Не боялся обжечься, уверенный, длиннорукий. Он говорил рассудительно и просто. И поэтому она спрашивала – его.

– Яхара, – она подсела к костру. – Сёгун Коджи не отправлен сюда. Его войско не помогает нам. Император Кэйко не отдал приказ. Почему так сделано, почему, Яхара?

– Я думаю, госпожа, император – мудр. Его мудрость видит хитрость разбойников. Они используют крестьян как солдат. Их жены и дети – заложники. В этих условиях сёгун – помеха. Его шумное и заметное войско. Только незамет-

ность не помеха принцу.

– Скорее всего ты прав, Яхара. Да, – задумчиво ответила Ото Татибана. – Иногда я не могу помочь. Не могу помочь своему мужу. И это терзает меня, – жену.

– Вы очень храбрая, госпожа, – поклонился. – И одно ваше присутствие – помощь. А вы не ограничиваетесь им. Вы много помогаете принцу, госпожа.

– Спасибо, Яхара, – подтянула пальцами рукава.

– Госпожа, я взял нешлифованный рис. – Яхара достал из ящичка мешочек. – Сварить вам; добавлю белой рыбы?

– Спасибо, Яхара, ты очень добр. Помнишь, как я его люблю.

Принцесса Ото Татибана улыбнулась, поднялась.

Яхара улыбнулся, отвернулся к котлу. Не любил улыбку принцессы – некрасивую. Принцесса казалось ему коричневой рисиной. Рисиной, которой брезговали все самураи. Им он готовил белый рис.

К Ото Татибанае подошёл Ямато. Увёл в палатку, поделился планом.

Переоделся в подаренное тёткой платье. Ото Татибана на-красила ему лицо. Его глаза в догорающем дне. Распустила волосы, пахнувшие солёный морем. Принц сидел, чуть приоткрыв рот. Так сказала ему сделать жена. Сидел, так и не закрыв. Влажно-белые зубы позади губ. Коснулась их, красных и сухих. словно поправляя краску – коснулась их. Простой узор на веках, тени. Веки поймали чёрные, бьющиеся

глаза. Хотела сдавить их, громадных, пойманных. Надела на пальцы свои украшения. Обернула шею своими украшениями, артерия. Бьётся своей жизнью, своей яростью. Распустила – чёрные жесткие волосы, тень.

Вошел Изаму, сел, пахнув чистотой. Сказал безопасный путь через болото. За ним шатёр лидеров бандитов. Красная палатка братьев Кумасо Такэру.

Грустный Сатоси подготовил сигнальную свечу. И они выдвинулись в путь. Бледно-серые тучи закрывали луну. Вдали вздыхали большие звери, ворочались. Кружась, поднимались из-под травы светляки.

Отошли недалеко, принц Ямато обернулся. Спрятанного костра не было видно. У костра осталась Ото Татибана. Он пообещал себе, укололся ногтями. Проведёт следующую ночь с женой. Будет с ней ласков; тишина. Иногда ему грустно от мыслей. Напоминать о внимании к жене. Он вовсе не хотел того. Не желал того своей любви. Чтобы любовь стала такой: невеликой.

Вспомнил встречу в храме Амаи. Перепутал её с тёткиной весталкой. Увидел, – её длинные волосы вились. Её волосы выпадали из-под заколки. Торопился человек с ведром; вправо. Прикрытые зрачки богов, сухие листья. Она всегда тихая и твёрдая. Сейчас Ямато думал о ней. Неловко шагал в платье босиком. Его друзья – команда – шли впереди. Всегда тихая, всегда любимо-странная. Сказала у сосны у ворот. Тебе не надо умирать – тогда. Почему я – тогда – не спро-

сил? Что она имеет в виду? Тёткина гостья, весталка храма Амайи.

Изаму жестом показал остановиться, обернулся. Его глаза по-кошачьи бездонно светили. Он показал вверх, изломанный мизинец. Провёл рукой на запад; кваканье. За болотом горели костры, лагерь. Принц Ямато поправил рукава платья. Скрыл широкие запястья; было тихо.

На севере дважды гавкнул шакал. Далёкий звук, отраженный от воды. Все замерли; было тихо, кваканье. Иногда яркие, иногда еле-еле – звёзды. Низкие, мерцали в чёрно-синем.

Принц Ямато прошёл вперёд; босой. Оставил самураев дожидаться сигнала; лай. Ступил на оставленный Изаму знак. Тебе не надо умирать, – сказала. Что бы это – тогда – значило? Говорила она что-то подобное после? Вот шатёр, изобразить застенчивость; камыши.

Корни дуба, поднявшиеся над землёй. Ямато сказал, что изобразил застенчивость. Миядзу попросила – показать; лунная влага. Светил плавающий в воздухе фонарик. Ямато прошелся мелкими шажками, вздохнул. Опустил веки, повернул голову; артерия.

– Милый, да ты ведь оборотень! – Миядзу рассмеялась, – Не хуже меня! – Ткнула носом косточку за ухом. Здесь особенный запах; Ямато вздрогнул.

Недалеко от шатра были казнённые. Два крестьянина, оставленные напоказ; шершни. Один мертвец висел вверх

ногами. Его привязали к бревенчатому треугольнику. Второму – нищему – сдавили шею верёвками. Тело вдоль вкопанного ошкуренного столба.

Банда братьев Кумасу грабила деревни. Забирали урожай жестокой земли Кюсю. Кто-то из крестьян решался сопротивляться. Сами или с помощью ронинов. Их убивали, оставляли тела птицам.

У шатра были слышны голоса. Пьяно-заваливающийся младшего брата Кумасо. Ленивый и глубокий – старшего; дальше. Братья обсуждали слухи о принце. Скоро должна прибыть команда Ямато. Молодые самураи, острые челюсти скопцов. Могущество братьев Кумасо растёт страхом. Император Кейко пошлёт целую армию. Ужас императора, потное бессилие принца. Не смогут пройти через болото. Принц с псами будут обстреляны. Старший предлагал обойти с юга. Псы Ямато не чуют тыл. Младший хохотал, мечтал о мече. Отрубленные руки и ноги принца. Вышвырнутые в клетке в море.

Ямато отогнул ткань у входа.

Луна скользнула по гладкому платью. Ямато убрал руку, проскользнул внутрь. Глядел вниз и смиренно стоял. По-девичьи страшился сделать первый шаг.

– О, сюда пожаловала сама Хасихимэ! – Младший Кумасо цокнул, отшвырнул кувшин.

– А может сама горная Ямамба? – Угрюмый голос старшего, чернота глаз. Голос доносился из дальнего угла.

– Какая разница, хоть даже горная? Главное, что она – бледная – красива! – Младший Кумасо подошёл к Ямато. Грубо взял пальцами за подбородок. Поднял лицо принца; кислый запах. Глаза младшего блестели; тихое дыханье. – Подлей нам молодого вина, красавица!

Кумасо отошёл к центру шатра. Уселся на циновку, сдвинув солому. Не удержался – завалился на бок. Захохотал, задрал и задрыгав ногами.

– Ты и правда красивая, Ямамба. – Прямой, злой взгляд старшего Кумасо. Он сидел, затенённый стенами шатра. Его поза – готовность к прыжку. – Непослушные волосы, тёмные широкие глаза. Сильные плечи, узкие кисти рук. – Кумасо мерно дышал, чернота глаз. – Приспусти кимоно с одного плеча.

Принц поднял ладонь ко рту. Прикрыл веки и высоко захихикал.

– Может ты и впрямь Хасихимэ.

Которая устала ждать своего жениха.

Которая ищет любовь сильных мужчин. – Старший Кумасо продолжал; пыль ткани.

– Да будь она хоть кем! Хоть этой старой ведьмой Ямамбой! – Младший Кумасо оттолкнулся, сел прямо. Нашарил кувшин, отбросил, задрал губу. Показал десну без клыка, – А? Клянусь силами шевелящихся яиц – я! Ямамба или Хасихимэ – сегодня узнает! Узнает, зачем нужно её тело. Налей выпить, – выдохнувшись, сказал он.

Ямато засеменил к далёкому кувшину. Чувствовал чужие взгляды; шёлк цеплялся. Присел, прямя спину и шею. Поднял кувшин, повернулся к младшему.

– Нет, ты точно ведьма, старая. Хотя и не старая, ха! – Кумасо вытер рот будто смутившись. Мазнул – от запястья до фаланг.

Он выхватил кувшин у Ямато. Обливаясь беловатой жидкостью, немного выпил. Принц стоял рядом; шакалиный взвизг. Кумасо жадно глянул на Ямато. Снова запрокинул кувшин надо ртом.

Широкий шатёр – он хлопал тканью. Вдудался и опускался от ветра. Просторный, синеватый и почти пустой. В центре белел небольшой костёр. Справа от входа свалены доспехи. Рогатый шлем, копьё, пустые ножны. Рядом со старшим Кумасо – клетка. В ней спал длинный попугай. Стена содрогалась тенью младшего Кумасо. Тень Ямато легонько шевелил костёр.

Коренастый младший Кумасо наконец напился. Свистнул, выбросил вперёд голые ноги. Поднял руки, протянул кувшин Ямато. Тот наклонился; блеск широких скул. Вынул чужой меч из-за пояса. Мокрый рот; блеск широких скул. Прозрачная дрожь костра, резкий взмах. Разрубленное до сердца плечо Кумасо.

Старший Кумасо швырнул себя вперёд. Ударил мечом, Ямато выставил клинок. Лезвия скользнули друг о друга. Кумасо опёрся на выдвинутую ногу. Схватил, наваливаясь,

свободной рукой Ямато. Выворачивал ему плечо, трещал тканью. Рванув, резко прижал к себе. Из рта горело скислившимся саке. Глаза вращались, оглядывали лицо Ямато. Принц коротко, резко махнул головой. Ударил лбом Кумасо в переносицу. Тот отпрыгнул, отдернул меч, скривился. Лезвие прошло по руке Ямато. Принц развернулся, завёл меч снизу. И – вонзил его в печень.

Старший брат упал, всхлопнул шатёр. Ямато поднял меч, исцарапанный противовес.

– Погоди, – рукой, – я хочу знать. Кто ты, кто меня убьёт? Кто и откуда ты пришёл? Кумасо – самые сильные на Земле. Насколько хватает сил вообразить – наше. – Старший Кумасо задыхался, опустил руку. – Насколько хватает сил вообразить – мы. Но, видимо, мы – Кумасо – ошиблись.

– Я – Ямато, – смазанные белила подбородка.

– Ты получишь ещё одно имя. – Кумасо Такэру лежал, смотрел вверх. – Ямато Такэру – храбрейший, победивший храбрых. Мы получили имя с честью. Позволь передать это имя тебе.

– Ямато Такэру, – ласково повторила Миядзу. – Он отдал тебе свою храбрость. Вместе с ней – свою жесткость.

– Разве я жестокий? – спросил Ямато. Провёл пальцем Миядзу вдоль позвоночника. Она шумно вдохнула, изогнулась, муркнула.

Принц Ямато поднял веточку, поджёт. Вышел из шатра, тихая тьма. Запалил промасленную нить сигнальной свечи.

Чтобы крикнуть, повернулся к лагерю.

– Я – Ямато Такэру! – пустые руки. – Я убил братьев Ку-масо Такэру!

Из чёрных палаток выскочили люди. Они не знали, что делать. Команда Ямато уже была здесь. Люди не видели смысла биться. И люди не хотели погибать. Им было не за что. Запасы, вытрясенные из крестьян, – малы. Доспехи убитых нищих самураев – никчёмны. Женщины, похлебки, свитки, статуи – ничтожны. Не держали оружие; они сдались.

Ямато широко откинул ткань входа. Костёр потянулся к зною снаружи. Вокруг него летали бархатные мотыльки. Труп младшего Такэру оставался сидеть. Кровь в длинной ране почернела. Удивлённые глаза лишились пьяной влажности. Остались ум и детская обида. Старший Такэру лежал на спине. Он будто спал – глаза закрыты. Морщины, злые у носа, разгладились. Он был мирен и спокоен. Оба брата Такэру были тихи. Их шатёр пуст и просторен.

* * * *

Они вернулись домой и жили.

Тоскливо ссорились и лениво мирились. Обнимались, иногда Ото Татибана смеялась. Смеялась, когда он прижимался ночью. Она смеялась смеялась и смеялась. Им становилось страшно от смеха. Тогда принц Ямато Такэру уходил. Красным морем волновался сверху клён. Вишни были голы; спали коты. Он уходил и он возвращался. Ступени, перекладины перил, выступы крыши. Всё покрывалось измо-

розыю; стыли сумерки. Принцесса Ото Татибана кормила кошек. Обнаженный затылок – две узкие мышцы. Ямато смотрел, шептал про себя. Шептал, что он её любит.

Они пару раз сидели вместе. Пили чай до поздней ночи. Ото Татибана вспоминала старые походы. Вспоминала разговоры с поваром Яхарой. Ямато – смелость Изаму, верность Джунучи. Говорил о грустном мудреце Сатоси. О безумной весёлости плешивого Масаюки. О ещё более безумном Хитоси. Смотрел на её крупные веки. Говорил себе, что им хорошо.

Просыпался поутру с тяжелой головой. Вздувшиеся виски от ночных бесед.

Бурые тучи зимы проползали внутрь. Ложились к ним на ночь.

Ямато Такэру вставал, разжигал пламя. Ото Татибана прижималась к мужу. Он замирал и не шевелился.

– Сейчас жаром высушит этот воздух. Мы тоже засохнем, – говорил принц.

– Станем сухими веточками, – говорила принцесса.

Высыхал разговор, песок под циновками. Они ещё немного потягивали спины. Протягивали ладони к тихому огню. Поправляли отвороты кимоно, потирали запястья.

Ото Татибана поднималась, хрустели колени. Уходила кормить кошку Рико Дора.

Ямато сидел, глядя на руки. Вспоминал веточку из шатра Кумасо. Она часто снилась под утро. Легко найденная на пу-

стом полу. Легонько вспыхивала остатками прозрачной бересты. Тлела, медленно уменьшаясь, красной точкой. Он нёс веточку, прикрывая ладонью. Выходил, поджигал промасленную верёвку сигнала. Отшвыривал веточку в синее болото. Ходила – топая – по деревянному настилу. Рико Дора – мяукая – за ней. Отходила от одной стены, останавливалась. Шла – топая – до другой стены. Входила в дом, кошка ждала. Руки лежали; Ямато начинал разговор. Они немного говорили о пустяках. Затем принц Ямато Такэру поднимался. Идти во дворец к отцу. Старик-император Кэйко ждал сына.

Принцесса Ото Татибана оставалась дома.

Сидела у огня, выставляла ладони. И, увидев кисти, убирала руки. Глядела в пламя, подходила кошка. Вспоминала военные походы с мужем. Ей казалось, она была одна. Одна в походах, в пустыне. Тяжело поднимала ногами песок, молчала. Молча долго молча шла шла. Пряталась в городах, притворившись нищенкой. Терпела побои и шипки людей. Не позволяла себе их разглядывать. Только ноги, выпуклые косточки фаланг. Босые ноги или в гэта. Её заставляли работать по дому. В оплату бросали ей объедки. Она шла в высоких травах. Трава полосовала икры, она молчала. Она спала в неподвижном поле. Её шелковая одежда была изорвана. Глядела на птиц, звёзды, тучи. Лежала в поле до осени. Её разрушали дождь и ветер. Рвали зубы шакалов, ногти обезьян. Мясо уносили орлы и стервятники. Она лежала, просила святую Каннон. Оставь душу в теле – ненадолго. Оста-

лось немного, оставь душу взаперти. Уже скоро – ночью – придёт муж. Возьмёт душу в свои ладони.

* * * *

Земля была в ночных зеркалах.

Миядзу кралась мимо дома семьи Ямато в курятник и услышала запах принца: запах весёлого и постоянно грустного человека, у которого умерла мать или, может, сын; гордого и отводящего плечи назад так, что между лопаток появлялась ложбинка, в которую так сладко класть острый язычок; запах молодости и силы, – судьба принесла запах принца Ямато Миядзу и – чёрная лисья жесткая шерсть вздыбилась на загривке – ей нельзя сопротивляться: иначе, Миядзу, ты станешь не той, кем хотела, не станешь холодной и властной любовницей, жизнь не разрежет тебя ножом, не вынет внутренности, а пройдёт вскользь, пролив немного крови – которая будет думаться жизнью, но будет лишь медленно ползущей смертью.

– Он – человек – узнает мой стон. – Миядзу выгнулась, улыбнулась коричневыми губами. – Я узнаю – его стон, зрачки. Как он поднимает тонкие ноздри. Как они раздуваются во сне. Я узнаю тяжесть его ладоней. Узнаю песок его тяжелых слов. Я узнаю его шепот, – постой. Шепот с мольбой ко мне. Я узнаю замок моих объятий. Я узнаю капкан его тела. Мои отворённые губы, его огонь. Я узнаю меня, меня, меня.

Принц Ямато вышел на террасу. Был дождь, кусты отряхивались каплями. Ямато увидел узкую лисью спину. Чер-

ная, она блестела холодной влагой. Спустился с помоста, подозвал лису. Она побежала к деревьям – вдаль.

Ямато ещё оглянулся – на окно.

Дома оставался свет, лиса гавкнула.

И Ямато направился за ней.

Лиса быстро скрылась между деревьев. Лес сомкнул толстые деревянные зубы. Кимоно намокло, отяжелело, стало чёрным. Но принц Ямато Такэру шёл.

Беззвучно висели ветви и лианы. Он сдвигал их, сдвигая сумерки. Он чувствовал – расстояние между ним и лисой всё то же – как, когда он ступил с террасы на землю. Он посмотрел вниз – босой, грязный. Но телу холодно не было. Тихо; где-то сбоку юркнула мышь. Тихо; золотом блеснул глаз филина. Тихо; царапнул по коже шиповник. Принц Ямато сделал ещё шаг. Вышел к дубу, старому, спящему. Поднявшемуся над землёй на корнях. Раскинутые корни – тёмные и мокрые.

Рядом с дубом стояла девушка. Тень толстых ветвей закрывала лицо. Ямато подошел ближе; расстояние исчезло. Он увидел её глаза, чёрные. Тихо; девушка смотрела на него. Открыл рот, спросить кто она. Но Миядзу взяла его ладонь. И вместо вопроса он простонал.

Она вошла в пространство из корней, черноты, земли, весенних капель и прелой листвы – здесь было тепло. Она поднялась на цыпочки. Она прижалась носом к его шее. Она назвала свое имя – Миядзу. Ямато вдыхал её влажный аромат,

касался её щекой. Он наклонился к ней, раскрыл её губы своими, острый язычок Миядзу мягко коснулся языка Ямато. Принц снял кимоно и постелил на землю, они опустились.

Она держала тонкими пальчиками его плечи, она держала его волосы, она держала его бедра, она держала его – он уходил в неё.

Ночью похолодало, пошёл мокрый снег. Ямато вынул руку из черноты. Поднял желтый стебелёк, примятый снегом.

Ямато надел кимоно и вышел. Миядзу вышла следом, голая; отвернулась. Шагнула в пустое горло леса.

Иву касались острия листьев пруда. Не мог зайти в дом. Сел на камень у воды. Мелко дрожал от бессонного холода. Чёрный лес на склоне горы. Бледно-серое небо над горой. Вспомнил тряпичную куклу у двери. Кто-то забыл её, намочла, потемнела. Хватит глаз заглянуть в лес? Заглянуть, что в нём произойдёт. Снег, согнувший ночью ветку, подтаивал. Капля повисла на чистой ветке. Когда снег сорвался, ветка качнулась. Капля не шелохнулась, осталась висеть. Встал – увидеть отражение в капле. Но Ямато ничего не увидел.

– Наверное, слишком близко, – решил он. – Тоска кипит, как овечьё сало.

И Ямато вошел в дом. Поднял мокрую куклу у порога. Положил к углям, задвинул окно. Луна светила сломанной костью бога.

Ямато напоследок втянул матовый воздух. Влажный запах Миядзу из леса. Ночь была лунной, – она уходила. Звёзды

близко приткнулись к Земле. Деревья нежились, почёсывая макушками небо. Шевелили его, создавали тёплый ветер.

Ото Татибана спала; платье наизнанку. Затушил оставленную для него свечу. Тьма сразу проглотила всю комнату. Все яркие вещи – он увидел. Они днём были в комнате. Проглотила дым, изгибающийся будто дурачок. Его выступления так любит отец.

Между ними лежал воздух дома. Касался кожей её – через воздух. Лежала на боку, задержав дыхание. Ото Татибана была тише темноты. Ширма: чёрная сосна, пела кукушка. Принц Ямато повернулся, скривил губы. Вдохнул, ему не понравился сон.

Утром принцесса вышла из дома. Открыла двери из морёной сосны. Вдали скрипели стволы высоких деревьев. Коротко пожив, устали, потухли звёздочки. Лёгкий сиреневый свет был повсюду. Он исходил из деревьев, мха. Исходил – видела – из всего неподвижного. Заколдованное всё светом – ненадолго замерло. Пустое ласточкино гнездо под кровлей. Капли не попадали в него. Капли попадали на осиные гнёзда. И в гнёздах успокоилась работа.

На ветвях сосны лежал снег. Снег умирал – рыхлый и мягкий. Спал, круглая капля на лбу.

Задела снег пальцем – его обожгло.

* * * *

Весна – мягкая, нежная – стала гневной. Не заметила, как это случилось. Она всюду видела своё отражение. Её лицо

вытягивалось в скорби. Муж смотрел над её ухом. Испытывала какой-то странный сладкий восторг. Может из-за императора; выронил палочки. Он озабочен несправедливым восстанием айнов. Отправлял сына с новым заданием. Тёмные круги; усмиришь непокорный народец? Ямато рассказывал про этих – айну. Дикое миролюбивое племя на севере. Небольшое; видимо, кто-то воспользовался ими. Злые, направленные против императора побуждения. Совсем мало ест; пресный рис. Прохладный пол дома; прозрачная тишина. Мерзла между половиц упавшая иголка. Не притронулся к рыбе; смотрит. Говорил, что они поклоняются медведю. Косолапый бог ярости и силы. А кто ещё кроме медведя? Ещё есть филин; отпил чай. Есть в числе богов лиса? Увидела высокую скулу в чашке. Ямато рассмеялся и – потом – ответил. Ничего такого он не слышал.

Она сходила к повару Яхаре. Занят подсчётом запасов к походу. Чей-то зубастый смех, чей-то окрик. Задала и ему этот вопрос. Ты ведь, Яхара, оттуда родом? Ведь знаешь про северные племена? Лиса божество у этих людей? Повар Яхара захохотал как Ямато. Будто ему нужно было рассмеяться. Малыш, который накапризничал и боится. Смех показывает, – всё в порядке. Взрослый не сердится; вазу склеим. Она смотрела на длинное лицо. Ещё больше вытягивается пока смеётся. Нет, нет, принцесса, – сказала лицо. Подтянул мешок, две длинные мышцы. Сверху и снизу длинного плеча. Надулись, подписывая мешок; лицо отвернулось. Переложил

к другим подписанным мешкам. Они не считают лис богами. Скорее злыми сущностями; лицо развернулось. Эти сущности только мешают жить. И, вот, приготовить вам, – показал. Крестьяне сегодня принесли нешлифованный рис.

Она сходила к разведчику Изаме. Возможно ли, – она спросила сразу. – Лиса айнов проникла к нам. Шпионит среди нас, скрытая хитростью. Хочет погубить нас в походе. Нет, принцесса, ответил самурай Изаму. Глядел ей на мочку уха. Я всё держу под контролем. Хорошо, похвалила его Ото Татибана.

Подходила к воде, ждала поход. Жарко молилась в храме Амайи. Разглаживала лоб, стирала загар рук. Прикладывала ладони к бющейся груди. Вспоминала лицо принца Ямато Такэру. Она хотела, чтобы они плыли. Он строго выкрикивал приказы команде. И чтобы она – принцесса – рядом. Он страстный – мой Ямато Такэру. Нет равнодушной свиньи, изгаженной грязью. И свинья не сожрёт его. Тётя Амайя поворачивалась к ней. Вы вместе исчезните в бездне. Тётя Амайя оборачивалась к прислуге. Просила оставить её в покое. От воды дуло противной прохладой. Она прятала руки в рукавах. Обхватывала одной другую, схватывала пальцы. Грела их друг о друга. Злилась, что они такие грубые. Ей не хотелось идти домой. Она знала, Ямато будет раздражён. Донесли её расспросы про шпионку. Всегда боялась за раздраженного Ямато. Ей казалось, ему невыносимо больно. Душа его, как лицо, каменеет. Весь грязнет в чужом проступке. Видела,

– он пропадает из мира. Ото Татибана задумывалась о трупe. О постепенном его отовсюду исчезании. Разрушается кожа, мышцы, затем кости. Остаются только ногти и волосы. Ногти и волосы остаются навсегда. Мужчины их коротко обрезают, – усмехнулась. Оставляют как можно меньше следов.

Я не помню его названия. Этого острова с племенем ай-нов. Отец говорил про дедово название. Только мне, впрочем; мы гуляли. Такого названия – дедова – вообще нет. Отец проплывал в тех местах. Ещё говорила бабушка Таисия, – тогда. Дед забрал её из Хабаровска. Она родом из тех мест. Таисия была настоящей сиротой; война. Настоящая, не как дед, – говорила. Бабушка слышала об этом острове. От парней-китайцев из детдома. Не помню, важно ли это?

Ямато Такэру встречался с Миядзу. Они с жаром прижились, обнаженные. Пахли собой и друг другом.

Он дожидался, когда расходилась по своим делам его команда, когда засыпала жена – оказалось, она быстро засыпала: переставала ворочаться, замирала и почти не вдыхала и выдыхала воздух, – он дожидался и – весна была холодной, яркой и колючей – выходил: по нескрываемой ничем тропинке, по ставшему видимым пути, которым шёлковой чёрной спиной она увлекла его, мимо колыбели ласточек, мимо ворот, мимо песочной плечи в траве, – над ней часто звенела стрекоза, однажды он видел прозрачное крыло на песке, но это было крыло не той стрекозы, – мимо шуршащей травы с хрюкающим ежом, изогнутым клёном, цветов азалии, горя-

щих костром богов, бледных лепёшек магнолий, чёрных червей, копошащихся в мокрой колоде разваленной старой сосны – лес уже не был чёрным для него, он был – синим, – мимо светло-розовых шариков грибов на стволе осины, ветки, заточенной ножом, которую он всегда переступал; папоротника, – под ним росла шершавая трава и никогда не выпускала из своих игл и тени покорно раздувающую росу, брошенной и разорванной фурсики, мимо забытого солнцем толстого и пыльного луча, он выходил к дубу – горбатым стариком вздыбленного на крепких, грубых корнях – с другой стороны, из-за куста ежевики, в ту же минуту, выходила Миядзу: она дула на бумажный фонарик, лёгкий свет прорастал внутри красного пузыря, и он оставался висеть в воздухе, когда Миядзу отпускала его и развязывала пояс Ямато, он снимал её кимоно, они ложились между корней брезгливо вскинувшегося дуба, Ямато чуть касался языком её клитора, поднимал голову и видел широкие зрачки Миядзу, он поднимался к ней, прикусывал резцами соски, она сжимала бёдрами пальцы, вложенные между крохотных лепестков, Ямато зло рычал от когтей, царапающих плечи, переворачивал Миядзу, надвигал её на себя ладонями, схватившими за косточки, и она выгибала длинную узкую спину.

Он не видел её лисой. Только в тот – первый – раз. Когда Миядзу увлекла Ямато Такэру.

Бессонный лес отметил глаза Ямато. Оставил ему свои синие пятна. Они встречались, Ямато ждал похода. Одной

ночью дал клятву Миядзу. После похода женится на ней. Она нюхала его жесткие волосы. Нюхала его шею и руки. Она сжимала пальцами его член. Она опускалась ниже, нюхала живот. Она проводила языком по яйцам. Она проводила языком по головке. Она обхватывала его – дрогнувшего – губами. Она пропускала его в себя.

* * * *

Император Кэйко усилил команду Ямато. Присоединил тысячное войско сёгуна Коджи.

Медленные обозы выдвинулись в поход. Ямато в нетерпении проскакивал вперёд. Затем возвращался; войско медленно плелось. Шорох доспехов, растянутый по дороге.

Ящерица блестит тонким пузырьём боков. Шелестит под яростной плоскостью камня.

Принц скалил зубы, подстёгивал коня. Снова нёсся к хвосту войска. Он представлял себя широколапым великаном. Сморщить эту колонну безразличных людей. Безразличных – к себе и другим. Вырвать, выбросить, отшвырнуть обратно домой. Этих: человек сто из середины. Идущих с копьями на плечах. Смотрящих на пыльные белые лепестки. Недалеко от дороги раскрылись яблони. Принц Ямато широко раздувал ноздри. Шумно втягивал мягко-кислый вкус. Лоснился черным бок коня Ямато. Отражался в оставленной ночью луже.

Они брели брели брели брели. По трое, реже по двое. С заточенной сталью за поясом. Глядящие – все, все – под но-

ги. На пятки, на тяжелую пыль.

Грязью оседала на соломенные сандалии.

Ушло четыре дня, наступил пятый. Они вышли к проливу Кадзуса. Сёгун Коджи раздал указания самураям. Удалился в палатку, закрыл вход. Повары варили рис, разделявали рыбу. Воины проверяли оружие, правили клинки. Скребли, отряхивали и штопали одежду. Чистили, латали и подтягивали доспехи. Две или три пары сидели. Принц Ямато быстро прошагал мимо. Поджав ноги, играли в го. Шершаво двигали косточками; молчаливые глаза. Изаму двигал пальцем по бумаге. Чёрно-белая карта, сворачивающиеся края. Яхара дул на пульсирующие угли. Джунучи, широко размахиваясь, колот дрова. Улыбался разлетающимся деревьяшкам; не устал. Ото Татибана села с Яхарой. Весеннее солнце обожгло её лицо. Высветлило глаза и истончило ресницы. Она не взглянула на принца. Масаюки подошёл к принцу, поклонился. Сказал, что Хитоси проверяет лодки. Принц Ямато Такэру сжимал кулаки. Не мог никуда деть ярость. Подскочил к воде, пнул её.

– Зачем нам лодки – самураям отца? Мы можем перепрыгнуть этот ручей!

Птица-скелет наклонилась, сложила крылья. Вытянулась вперёд молочно-белой головой. Врезалась в серую воду пролива. Пронеслась, сопротивляемая толщиной густого моря. Донесла слова принца морскому императору. Рюдзин вздрогнул спиной от злости. Поднялся с трона, радуясь ис-

ступлению. Оно чернильно поднималось из бёдер. Рядом брезжили в воде столбы. Рюдзин подошёл поочередно к каждому. Четыре тёмных вертикальных столба бури. Рюдзин широко и яростно скалился. Провёл ладонью по выбритому скальпу. Обхватил каждый столб, сильно тряхнул.

Сёгун Коджи выстроил войско рядами. Короткий приказ – лагерь оставил след. Чёрные пятна костров, мятая трава. Брошенные сандалии с вылезшей соломой.

Качался корабль, карабкался краб – сорвался.

Войско погрузилось в лодки, отплыли.

Его было видно из каюты. Через открытый проём окна; – покачивался. Он расплывался и стекал вверх. Нет ветра – вернуть его глазам. Не поднимались руки; норы рукавов. Не было недалёкого леса; комнаты. Не было слов – сидела внизу. Двигала вслед за кораблём головой. Верила тишине, короткой дроби чаек.

Сёгун Коджи расположился у носа. Скрестил ноги и обстругивал палочку. Давил мозолью пальца на лезвие. Ронял стружку на кожу моря. Он был могучий и седой. Его шея окаменела от спазма.

Принц Ямато Такэру подошёл справа. Сёгун Коджи поправил пояс, меч. Повернулся корпусом и посмотрел вверх. Стараясь не поднимать головы – посмотрел. Одними глазами и сморщив лоб.

– Хорошая погода, – сказал сёгун Коджи.

– Да, – ответил принц Ямато, качнувшись. – Изаму гово-

рит, такой и останется.

Сёгун Коджи приподнял плечи, отвернулся. Сощурился на горизонт, желтоватая полоска.

– Я надеюсь, ничего не изменится. – Срезал тонкую полоску, ведя ножом. Закруглил конус острия, режа дерево.

– Надеюсь, что изменится много чего. – Ямато спрятал руки за спину.

Сёгун Коджи не всё расслышал. Переспрашивать не стал, опробовал палочку.

– Император ждёт – вы погасите огонь.

– Он говорил с вами? – переспросил.

Принц Ямато сжал рукоять меча.

– Всё, что касается безопасности Империи. – Сёгун Коджи замолчал, отбросил палочку. Снова повернулся корпусом к принцу. Посмотрел на его лицо, отвернулся. – Если это, по мнению императора. – Сёгун Коджи помолчал несколько мгновений. – То, что должно касаться меня. – Сёгун Коджи повернулся, посмотрел глазами. – Император Кэйко доверительно сообщает мне.

– И что вы сами думаете? – Принц Ямато Такэру чувствовал огонь. Огонь поднимался изнутри к щекам.

– Я пожил, – ответил, смотрел вдаль. – И считаю вслед за императором. Ваше решение, принц, будет сложным. Но вы мудро его примете. Оно будет верным для Империи. Но разрешите задать грубый вопрос? Император уже говорил с вами?

– Нет, нет, – задумчиво сказал Ямато. Сделал шаг назад, спрятал руки.

Тихое гладкое море резко поднялось. Швырнуло ключьями рыб и птиц. В самураев, Ямато и сёгуна. Палуба билась кроваво-белыми ошмётками. Четыре широких вихря поднялись вверх. Крутили и отбрасывали острые капли. Швыряли песок, ил и камни. По бортам колотило изорванной рыбой.

Безглазые волны кусали куда попало. Руки самураев, руль и мачту. Вгрызались, откусывали и рассыпались градом.

Мощный ветер протянул перекрученные пальцы. Натягивал паруса вперёд и назад. Мотал корабли и бил досками.

– Режьте все паруса, нас сталкивает! – Принц Ямато выхватил небольшой меч.

Кто-то подлетел размытым чёрным пятном. Воткнул меч в выгнутую ткань. Она треснула и разошлась. Две половины с хлопотом скрутились. Ветер обрушил мачту, разбив борта.

Волна подняла лодку команды принца. И, подняв, толкнула вертикально вниз. Другая волна подхватила зубами сбoku. Встряхнула и обрушила на море.

Из моря вылезли столбы-воронки.

Воронки подходили к острым носам. Наклонялись и ввинчивались на них. Изгибались, легко вертели тяжелыми кораблями. Люди держали себя за выступы.

Одна воронка остановилась, отпустила, выгнулась. Сложила жерло в беззубый рот. Капая пеной выкрикнула мокрые слова.

– Мне нужен принц Ямато Такэру!

Сёгун Коджи схватил рукав принца. Гневно ударил старика по кисти.

– Вот я – принц Ямато Такэру! – Из каюты вышла Ото Татибана. Принцесса была в одежде мужа.

Рука из ветра и воды. Серая – она выдвинулась из воронки. Подняла принцессу, поднесла к жерлу.

– Это он? – спросил Рюдзин птицу. Император был на дне моря. Император глядел в другое жерло.

– Да, – испуганно сказал птица-скелет. Ничего не видел из-за брызг.

Из воронки поднялась вторая рука. Накрыла ладонью принцессу на ладони. И всё провалилось в море. Провалились остальные воронки, шторм стих.

Рюдзин увидел принцессу Ото Татибану.

– Ты – женщина! – взревел морской бог.

– Да, – и я навлекла на себя позор, обманув тебя. Но всё, что сказал мой муж, принц Ямато Такэру, могла сказать и я – принцесса Ото Татибана.

Рюдзин смотрел на Ото Татибану. И она понравилась: опытом скорби. Вырезан на лбу, шее, руках. Смотрел, – идёт морщинами от ноздрей.

– Я принимаю твою жертву, – сказал.

Глава IV

Больница

Я проснулся от звука удара.

Тумбочка соседней кровати, упала книжка. Прошорхнула, ударилась; уличный жаркий шум.

– Августин Яппонский, – грустно сказал старик, хрипнули пружины.

Старик поднялся на локте, посмотрел, – Ты не квокай, а бери мыльно-рыльное и шуруй в ту самую комнату.

Он перегнулся, длинно пошарил рукой. Но книжка лежала, не давалась. Скатился с хрипнувшей пружиной кровати. Залез под кровать, обшарил там. Протянул руку под тумбочку, замерла. Узкая, светились старые коричневые вены. Но книжка всё не давалась. Старик сердито буркнул из глубины, – Ползаю за тобой, как катерпиллер.

Тогда – в палату вошёл обход. Впереди – высокий и тёмный врач. За ним будто бы бежали. Молодые белые халаты будто шли. Молодые халаты жались к женщине. Сухая, отрёшенная – во взрослом халате.

Тёмный врач остановился у кровати. Крайняя, слева от двери, затихла. Заговорил, тот скрипнул этой кроватью. Потом опять на неё сел. Снова ей скрипнул, уточнил ответ.

Тёмный врач похлопывал по карману. Видны пружины блокнота, не доставал.

Тёмный врач – к молодым халатам. Что-то тихо и мягко

передал. И кровать снова скрипнула, затихла. Из её тишины – тот – спросил, – Можно выписываться?

– Да, да, – голубым голосом сказал тёмный врач, – я же сказал, – уже поворачивался к другой кровати. Она задевала мою круглой спинкой.

С кровати встал тощий парень. Подошла девушка в молодом халате. Сказала тёмному врачу, – поступил вчера. Похлопал по блокноту, оба помолчали. Показала запись в планшете, кивнул.

Молодые халаты шептали про парня. Учащённое сердцебиение, нехватка воздуха, тремор. Страх слепоты, травм пальцев, смерти. Остановка сердца, поверхностный сон, апатия. Утеря желаний работать, есть, желаний. Жена вызвала скорую и полицию. Сильно бил себя в живот. Объяснял, что живот по-польски жизнь.

Они – шепча – обсудили показания кардиограммы. Глядя на тёмного врача – энцефалограммы. Ультразвукового исследования мозга – шурша халатами. Ритм нормальный, опухолей, патологий нет. Всё умеренно, незначительно, – сказал один.

Я смотрел на высокий потолок. Пытался не впустить их слова. Про ослабленную память, тревожно-депрессивное. Частые вопросы о сыне, апатию. Рассеянность, дыхание, интеллект синусоидален, суицидален...

Посадил бы слизня на потолок. Потолок был глухим, горизонтальные трещины. Слизни – оранжевые, сокращающие

мокрые тела. Они никогда не видели его. Посадил бы на потолок – омерзившийся. Чтобы прополз и оставил след. Но я не посадил бы. Не хотел; глухой потолок наверху.

Дед нашарил под тумбочкой книгу. Выполз и лёг на место. Тёмный врач поговорил с парнем.

Хлопнул карман, перешёл к старику. Наискосок по линолеуму, качнулась палата. Старик отвечал бодро, он улёгся. Тёмный врач показал на тумбочку. На застывший в стакане кисель.

Я лежал у окна, ждал. Молодые халаты подойдут ко мне. Шелестели за решеткой лопасти жалюзи.

– В буфете неудобно есть ложками котлеты, – сказал старик, поворачивая стакан киселя. – После котлет от всех пахнет мясом и компотом. В туалете – хлоркой.

Тёмный врач перешёл ко мне.

– Как сказал один суфий из страны, воспетой длиннорогим усачём, – бёдрышки не врут, – ещё говорил в спину старик.

– Шесть кубов диазепама для успокоения в мышцу, – вроде шёпота среди молодых халатов.

Жались и жались ко взрослому.

Тёмный врач поздоровался, шелестели лопасти. Поднялся с кровати, тоже поздоровался. Прутья решётки кровати, подушка вдавилась. Выдернул прежде, чем лечь снова.

Всё превратилось в головную боль. Пульсация над бровями, красные слова. От работы пальцев, сжавших ткань. Ноги

не захотели держать – совсем. Болел копчик, больно шеле-стели лопасти.

Девушка перелистнула страницу в планшете. Показала тёмному врачу, посмотрел вниз. Пробегал глазами, смотрел на меня.

Тёмный врач говорил молодым халатам. Безглазый взгляд и тихий голос. Вопросы о наследственности, их вопросы. Царапанье стержня о жёлтую бумагу. Тощий парень пытался вслушаться, понять. Дать соскользнуть в острый психоз.

Пошёл день, день так шёл.

Меня попытались провести – куда-то – тогда. Спинной мозг прорезало розовым морозом. И меня – бледного – тогда – уложили. Скрип – обнимающий, обнимающий, обнимающий, обнимающий.

Из окна запахло горячей сосной.

Кто-то сказал, – дисбаланс нейрогормональных структур. Длинные змеи слов; исказили себя. Мне не хотелось подниматься – и. Блевотина солнца переползла с пола. Стены, постоянные спазмы, в коридоре. Там – вздрагивала толстая спина электрика.

Я проваливался, вываливался, стрекотало солнце. Как-то услышал распахивание дверей – стучание. Крик – далеко; подробными словами, крик.

Отец учил кидать плоские камни. Клал на плоскость большой палец. Изогнувшись, кидал, искал следующую плоскость. Камень бежал – ящерица – по реке.

Тихо гудела, пахла электричеством лампочка.

Скелет касатки лежал около недалеко.

Белое пятно белой стены напротив. Маляр обмакнул руку, нарисовал локтем.

Ноги гудели, от страха ходили. Ныли, когда ходить было нельзя. Поднялся в туалет, отвёл старик.

Я лежал весь день дыхания. Запомнил первые слова, мне двенадцать. Слова, произнесённые мне, – дедушка умер. Тогда – я впервые передвинул вещь. Впервые – тогда – без её разрешения. Потому что она мне мешала. Ночь наступила раньше – спрятать их. Вещи стояли, испуганные моей волей.

Закруглённые ногами каменные ступени больницы. Не вспомню – поднимался по ним. Покачался бы на них носками. Всегда так делал, когда поднимался.

Прямоугольный воздух палаты потемнел ночью.

– Вода всегда рядом, – во сне сказал старик, притих, – а до гнезда надо дойти.

Вздрагивал, словно ребёнок, тощий парень. Его кровать под дымом луны.

Сказка, – обречённого, отречённого и отчаявшегося.

Продавливалась и скрипела сетка кровати.

Глава V

Военный поход

Как прозрачная смерть стихли волны. Корабли уткнулись в песок острова.

Самураи вышли на серый берег. Море дышало кислым, тёплым ветром. От сини напознала хрупкая пена.

Сёгун вытер о песок ноги. Растёртая о песок привезённая трава. Выдавленный подошвой густой прозрачный сок. Слипшиеся в грязь острые песчинки. Влетали в песчаные норы ласточки.

Сёгун Коджи выстроил воинов рядами. Ладонь, согнутый палец, поход начался.

Оплывает дзельква, вдали скрипит кит. Сонная местность пахнет молоком тли. Поворот ноги, остановка – все останавливаются. Обмотанные икры, блеск рогатых шлемов. Широкий ноготь режет чёрную землю.

– Некоммерческая Ассоциация «Воин», – сёгун хохочет.
– Мы – Бусинка, – ревет рот сёгуна.

Его колени опускаются на землю. Ноздри шумно втягивают воздух, – солёный. Прыжочки ушей, – вслушиваются в звуки. Тихие и стучащие; вращение глаза. Вокруг, вокруг, самураи глядят вперёд. Их зрение сужается в точку. Тогда колени поднимают сёгуна Коджи. Выстраивает войско колоннами по четыре.

Самураи – мечи, копьё, знамя – пошли. Они не видят, что

сбоку. Принц Ямато Такэру едет сзади. Тихий конь его пышет ноздрями. Люди принца рядом с ним.

В голову сёгуна влетает ворон. Вынимает из глазниц Коджи клюв. Сперва из левой – белое яблоко. Затем из правой – красные волокна. Глаза сёгуна Коджи в клюве. Омывает кровь острым узким языком. Омывает кровь и прячет клюв. Оставляет чужие глаза в глазницах. Ворон вынимает голову изо рта. Ворон каркает, шея сёгуна вздрагивает. Ворон проваливается в брюхо Коджи.

Идёт сёгун Коджи, идут самураи. Едет Ямато, идут его люди. Осыпаются, осыпаются; иглы и перья. Красным поцелуем поощет серое знамя. Раскалённый металл, высокие бледные лбы. Мягкий ход, полохание кровавого кома.

Ладонь сёгуна Коджи останавливает войско. Шагает в поле и останавливается. Палец подманивает войско – шаг вбок. Наклон тела, опущенный ковш ладони. В траве сидит голодный птенец. Широко раскрывает узкий клюв – вверх. Напряжена плёнка перепонки в уголках. Сёгун Коджи смотрит на него. Он вмялся взглядом, он растерян. Один из самураев показывает вверх. Морщинистое дерево слабо держит гнездо. Самурай предлагает посадить птенца домой. Выглядывают и пищат две пичужки. Сёгун Коджи подходит к самураю. Вздвигается по спине на загривок. Зубы вцепляются в узлы шеи. Руки обхватывают голову, выворачивают челюсть.

Ладонь сёгуна простирается над войском. Дважды он перешагивает через всех. Пятка сдвигает тело, ведёт дальше.

Пичужки орут вслед, словно роженица.

Идут, глядя в бёдра сёгуна.

– Гитлер, Геббельс и Щипи, – оборачивается. – Плавали на лодке, – шторм, гром. Гитлер, Геббельс утонул, – сёгун хохочет. – Кто там остался в лодке?

Остановка – грудь сёгуна над войском. Рука, изогнувшись, скользит в ряды. Щипок двух пальцев за воротник. Поднятый к ноздрям сёгуна самурай. Острые ногти врываются под мышку. Войско стоит, взгляд всех – точка. Спины прямые, руки держат оружие. Кровь под шеей ровно бьётся. Ногти сёгуна разрывают доспехи самурая. Они щекочут – искривлённый рот смеха. Самурай изгибает спину, запрокидывает голову. Разжимает ладони, его оружие падает. Два пальца держат за воротник. Ноздри сёгуна вдыхают шипящий смех. Ногти царапают и разрывают кожу. Белое мясо под пластинами ногтей. Они задевают острым чужое сердце. Войско стоит, взгляд всех – точка. Рука отшвыривает изорванное смехом тело.

В овраге висит утренний туман. Колени опускаются у края обрыва. Руки омываются в густой влаге. Туман бледно вбирает окаменевшую кровь. Ладони упираются в край обрыва. Корпус наклоняется над лежащим облаком. Сёгун выпивает туман, качает челюстью. На дне оврага пальцы можжевельника. Изломанные, с чёрными круглыми суставами. Рука забирает у них кабанов. Стихшая мать и визжащие поросята. Сёгун Коджи выдирает матери клыки. Раздвигает брюхи, вы-

нимает всем внутренности. Давит на хребет, – выворачивает наизнанку. Суёт красное мясо под мышку.

Сухая и жаркая плоскость острова. Чёрные прожилки в глинистой почве. Молодые деревья хватают острыми ветвями. Лезут в глаза и ноздри. Сёгун Коджи воодушевлён ровным шагом. Трёт ладони, и вспыхивает пыль. Тощую почву лижет маслянистая тень. Сёгун хохочет, глядя на кровь. Тонкокожие веточки захватили множество капель. Качаются яркие и красные капли. Сёгун Коджи хохочет и хохочет. Войско продирается, зноем роятся раны. Сёгун встаёт под крючья веток. Кровь падает на лысую голову.

Впереди зелёное и грязное болото. Сёгун дважды хлопает и молится. Он длинно наклоняется, запыляя грудь. Глаза выталкивают слёзы, – гноятся углы. Складки затылка сочатся круглым потом. Костлявые руки слепо шарят землю. Пальцы с воспалёнными суставами бьются. Камни, ракушечные холмики и пни. Войско стоит, взгляд всех – точка.

Наконец, они – дрожащие пальцы – находят. Вязнут между липких волокон корней. Раздвигают мягкие стебли мёртвых камышей. Пальцы опускаются в болотную жижу. Дрожащие жёлтые узлы взбивают её.

Толстые пузыри поднимаются со дна. Жижа слабо выдыхается с ними. Земля обнажена и жалобно хлопает. Ладони опираются, толкают сёгуна вверх. Колени разгибаются, поднимают большое тело. Рыбьи скелеты, гнилые звериные трупы. Извоженные грязью белые листья лилий. Пятка сёгуна

срезает пласты земли. Сгребает, – желтая пыль, – в грязь. Рыхлая высушенная земля накрывает слизь. Ступни сёгуна топчут глинистую массу. От жары гремят ослепшие змеи. Сёгун Коджи выпрямляется, тяжело топает. Плоскость тверда и гулко стонет.

Войско проходит по спекшемуся песку.

Оно идёт мимо шипенья дня. Оно идёт под зовом воронов. Оно идёт между плача зверья. Оно идёт, его взгляд прям. Оно идёт рядами по четыре.

В закрытом соснами лесу лошадь. Стоит полузакрыв веки; неподвижные рёбра. Чёрные полосы воздуха между деревьев. Жёлтый лоб Коджи – к ним. Войско идёт дальше, прямые взгляды. Коджи вынимает чёрный цвет леса. Вкладывает в морщины и отворачивается. Остаётся бледный, бумага окна, воздух. В нём остаются обнажённые морды. Лошадь повернулась и всё стоит. Полузакрытые веки и неподвижные рёбра. Коджи сгребает последнюю полосу черноты. Он спешит, бежит вперёд войска. Серебряное брюхо лошади мерно дышит. Волосатыми рогами качает длинноногий лось. Двигает землю толстым рылом кабан. Медведь скребёт когтями влажную спину. Охряные стволы скалящих ветви деревьев. Отражающие иглы сосен чёрные змеи.

Один ряд разрушается, обвалившаяся тишина. Яма, прямой взгляд, сломанная нога. Кость торчит над вывернутой щиколоткой. Ладонь вскинута, палец, войско остановлено. Тело сёгуна нависает над рядами. Свист воздуха, входяще-

го в ноздри. Углы грубой кожи поднимает улыбка. Вывернутые ладони говорят рядам разойтись. Самурай стоит на одной ноге. Впервые на острове смотрит вверх. Глаза, морщины сёгуна, жир щёк. Пот тела, запах гниющего мяса. Шипенье, крики, стоны, лай, свист. Стрёкот, громадная волна стрёкота, жара. Спина сёгуна Коджи поднимает плечи. Указательный палец сгибается и разгибается. Палец подманивает самурая к сёгуну.

Самурай опирается на сломанную ногу. Бело сжатые от боли губы. Самурай идёт вперёд между самураев. Он смотрит вверх в глаза. До сёгуна Коджи нельзя дойти. Указательный палец сгибается и разгибается. Самурай идёт пока не падает.

Указательный палец толкает глухое тело. Правая кисть ложится перед телом. Левая – сгребает тело на правую. Рука подносит тело ко рту. Вкладывает в кариозную выемку зуба.

Сёгун поворачивается к войску боком.

– Лёд – вы должны увидеть его!

Торчат чёрно-белые клыки скал. Ледяные лезвия, хруст разрезанных облаков. Клыки торчат вбок, вверх, вниз. Все клыки уставлены на самураев.

Ладонь у коричневых пятен губ. Сёгун Коджи вытряхивает свои зубы. Другая ладонь накрывает холм зубов. Ладони трясут их у уха. Запах старых складок, кладбище песен. Большие пальцы – друг от друга. Между ладоней вылетает рой мух. Они, жужжа, объедают весь лёд.

Мухи ползают по обжигающим остриям. Задевают крыльями подрагивающие жирные животы. Всасывают мягкими хоботками синие иглы. Трут лапами у сетчатых глаз.

Сытые они падают на глину. Копошатся лапками на красной земле. Ладонь сгребает мух в ладонь. Ладонь сжимается в белый кулак. Хрустят чёрные тельца, выдавливают внутренности. Густые и белые – на ладони. Указательный палец вымазывается в них. Втирает в пустые бурые дёсны. Вынимает из кариозной выемки самурая. Обмазывает белой массой его рану. Сёгун Коджи смотрит в лицо. Держит в воздухе за подмышки. Кладёт на глину, обдувает ногу. Бледные мышцы губ, запах гортани. Обматывает щиколотку длинной лентой ткани.

Щипок пальцев поднимает за воротник. Выпуклый ноготь толкает в спину. Сёгун Коджи говорит: Встал – иди. Самурай идёт и проходит много. Занимает ряд, стараясь забыть боль.

За ледяной крошкой – мозолистые корни. Измождённая глиной акация, озлилась колючками. Сёгун втягивает прохладу её тени. Он шагает, ступни раздавливают корни. Ряды самураев идут по ним. Раздавленные в мокрой пыли, разорванные. Нет ветвей, колючек, нет тени.

Идёт сёгун Коджи, идут самураи. И теперь должна наступить ночь. Сёгун достаёт из глаз мрак. Войско стоит, взгляд всех – точка. Сёгун расправляет над ним черноту. Сёгун вынимает мясо из-под мышек. Мясо готово жаром его тела. Он отдаёт громадные куски поварам. Сёгун проглатывает мох-

натые кабаньи спины. Сёгун валится под скалу, засыпает.

Самураи жмутся к его телу. Выставляется дозор и разбирается лагерь. Пожар зажаривает кабанов, войско наедается.

Самураи разбиваются группами, разводят костры. Оранжевые языки слизывают сладкую тьму. Самураи молчат, самураи хотят говорить. Звериный шорох затаивается, поднимается храп. Дыхание, вздохи, хруст коленей, чесание. Бурление в желудках, шмыганье носами. Потирание ладоней – разворот к костру. Взгляды через костёр на другого.

Ночь орала чернотой, как осёл.

Самурай средних лет поскрёб грудь. Она была черна от волос. Широко зевнул, взглянул на ногти. Откинулся и оперся на локти. Задрал голову, растянув жилистую шею. Под скулой торчал клочок бороды. Этот клочок был бледен серединой. Клочок ещё раз громко зевнул. Он пошарил рукой, стукнул камень. Серый гладкий валун – оранжевые отблески. Клочок развернулся, встал у камня. Немного подкопал снизу, подсунул ладони. Перевернул камень – шумно выдохнул носом.

Почесываясь, рядом встал широкий самурай. Его одежда была заботливо старой. Наклонился, уперев ладони в колени. Под камнем копошились разноцветные насекомые.

– Ну и валун ты сдвинул! – Самурай распрямылся, поскрёб лысую голову. На ней – громадной – маслянились шишки.

– У тебя самого голова – валун. – Клочок двинул шейей,

широко оскалился.

– И то верно, – Валун расхохотался.

Громкий хохот его был бесконечным. Он хватал бока, вращал телом. Задирает голову и бугрил затылок. Наконец, багровый Валун – свистнув – стих. Склонился над мокрым шепчущим пятном.

– Нет ли здесь, – он вгляделся. – Терракотовых пауков, пожирающих овсянок, а? Бражников, придающих блеск змеиной чешуе? Кузнечиков-сатиров, стрекочущих грубым смехом? Палочников, в агонии выпускающих лепестки? Навозников, выучившихся слову, растерявших алфавит? Зелёных часовщиков с дребезжащими лапками? Тартаровых червей, что плюются песком? Моли, выпросившую бледность на милость? Жука, звучащего арфой, прозванным – горе? Лунниц, вырывающих из яда жало? Бычка, берегущего рог, как статуэтку?

Валун надулся, вздыбив широкую спину. Вдруг выдохнул на ослеплённых жучков. Качая цветными скорлупками, они побежали. Из опустошенного пятна в черноту.

Валун икнул, – вернулся к костру. Длинный самурай подвинулся, уступая ему.

– Сейчас идут два часа мыши.

– Чего, рис наш стырить хотят? – Валун повернул голову к длинному.

– Два часа до полуночи – мышей. – Самурай чуть повернулся к Валуну. Костёр подсветил родинку на щеке. Она бы-

ла с ровными краями. Чёрная на матово-бледной коже. Шапка гвоздя, вбитая в череп.

Самураи сидели у косматого костра. Ветер грубо ломал их ночь. Рвал оранжевый и непуганный огонь.

Пахло кукурузой – взлохмаченными, высохшими стеблями. Пахло выгоревшей травой, срубленным деревом. Лопалась влага поленьев в костре.

– Отчего кукушка знает дату смерти? – На Валуна взглянул молодой самурай.

– Кукушка – не земная птица; скиталец. Отрешенный скиталец из царства мёртвых. Видит живых и кричит: хо-то-то-ги-оу. – Ответил через голову Валуна Родинка. Самурай слева подбросил тонких веточек. Сухие – они, вспыхнув искрами, исчезли.

Принц Ямато был у себя. Он поставил палатку восточнее лагеря. И его команда расположилась рядом.

– Неправда, неправда, – всё шептал принц. – Неправда, – сидя на циновке прямо. – Неправда, – шептал он это слово. Это слово – он видел его. Неправда – он видел перед собой. Оно было единственным его словом. Он – Ямато – был им отмечен. И он был им – неправдой. Он повторял его и повторял. Повторял, надеясь – оно потеряет смысл. Сильнее, чем обычно, отводил плечи. Но чувство искривлённости не исчезало. Поднималось вдоль позвоночника к челюсти. Он шептал и шептал: неправда. За ткань палатки слышал пенье птиц. Свалку обрубленных слов чужих самураев. Высокие

звуки вскриков, низкие – переговоров. Мягкий вход палатки – язык ветра. Пламя лениво съедало жёлтый воск. Они делали что-то, ослепляя ночь. Поднимали из нарубленных деревьев огонь. Высушивали, вымоченную водой бездны, одежду. Описывали: раненых, выпавших на дно. Кто-то запевал и кто-то подхватывал. И всё, всё шумело там. И трава ещё, и деревья. И волны ещё – уже далеко. Да, волны ещё было слышно. На миг принц захотел пустоты. Для всей своей тихой команды. Для всех зверей и растений. Чтобы осталась только она – неправда.

– Я подавлю восстание, – прошептал принц. –

– И, – дальше он не договорил. Он представил всё в образах. Побреется и пойдёт в монахи. Вечно хранить память о жене. Вечно знать о её любви. Продуманное слово – любовь, – закрыл глаза. Оно казалось и было неправдой.

В темноте лунный свет рассеивался. Песок, оседающий на дно моря.

Самураи сидели под слоистой скалой. Качалась серая вуаль серой тени. Это дрожали кусты, цапающие камень. Цикады звучат колокольчиками, подумал Родинка. Он уже долго сидел молча. Ямс оставил рту кислую сухость.

Смотрел, как плавятся пятна огня. Наконец я не вижу его. Обвалились поленья, костёр вздохнул искрами.

Я – я – на своём месте. Суровая вода и твёрдая земля. Я могу задеть языком небо. Мой язык – прилипнет к нему. Только мой, только мой язык. Язык высушен тремя клубня-

ми ямса. Мой язык высушен печёным ямсом. Это мой язык высушен ямсом.

Родинка видел себя посторонним человеком. Длиннозубым, с острыми локтями, коленями. Зачем-то владевшим его – Родинки – памятью. И характером, и мыслями – владевшим. И говорившем о Родинке – я.

Снова обвалились поленья; брызнуло искрами. Искры похожи на малюсенькие крестики. Четыре остря, у снежинок – восемнадцать. Чем холоднее, тем сплочённее вещество. И мыслил о Родинке – я. Родинка путался, сцеплял замком пальцы. Побелели костяшки, исчезли складки суставов. Он испугался вдруг; кольнул костёр. Стряхнул искру, – Чьё это тело? Вдруг придёт его хохот; оскабливающий. Как горелая чёрная корка ямса. Нет, не придёт; густое дыхание. Суровая вода задушила его дыханье. Шаг по твёрдой земле похоронил. Воля к долгу раздавила его. Нет взгляда Амаэрасу на нём. Это правда его, Родинки, мысли. Нет речи этого – второго человека.

Родинка помнил второго человека – Родинку. Как убитое насекомое – ещё помнил. Его шляпку гвоздя на щеке. Второй человек думал: Я – помню.

Глядел на Ключка через костёр. Ключок не спал, закрыв глаза. Усталое лицо, пытающегося держаться человека. Иногда сильно сдвигал губы влево. Сухая кожа натягивалась узкими морщинами. Слезало седое пятно в яму щеки.

Помню яблоню, склонившуюся от стены. Весь её наклон,

покорность наклона. Щедрость красоты – роняла её всюду. Даже трава и стены – красивы. Он – я – увидел яблоню издалека. Неподвижная луна и неподвижный мир. Широкая крона и чёрные листья. Хрупкий ствол, тишина, тишина, тишина. На меня нахлынуло то чувство. Я и он были одним. Чувством правдивой правильности всего мироустройства. Сухой лаской, – которая была всем. Я ликовал, я испытал восторг. Я смотрел на неподвижную яблоню. Горячую, как приветствие гордого воина. Твердую, как земля, держащую воина. Мудрую в своей спокойной ярости. Свирепый жар, который создали боги. Воплотили в камень, притянувший камни. Сплавивший их жаром; спекший сухостью. Распалющийся своим самосозданием, немым гневом. Распалющийся объединением вокруг себя всего. Мудростью допустивший к себе Идзанаги. Впервые познавший влагу – пот Идзанаги. Впервые познавший влагу – его семя. Принявший жизнь, грех и воду. Я знаю сухость, я – самурай. Наши приветствия сухи и горячи. Наш шаг чёток и твёрд.. Наш сёгун – мудр, спокоен, свиреп. Я – самурай, мой долг знать. Я знаю это – влага – грех. Мудрость, ласка и ярость – одно. И оно не содержит греха. И яблоня была отсутствием греха. И я должен охранять яблоню.

Это чувство не длилось долго. Не дольше трёх ударов сердца. Теперь я знаю, знаю это. Три удара сердца – мера всего.

С четвёртым ударом я увидел. Жуков, жрущих корни ис-

терзанного дерева. Время, глотающее жуков и себя. Траву, сосущую корни иссушенной земли. Поедание, сжирание, копошение в отходах.

Нет гармонии дальше трёх ударов. Но эти-то три я знал!

Я – он – хотел отдать – им. И казалось, это так просто. Просто рассказать о чувстве гармонии. Рассказать об этой кроткой яблоне. Об этой тускло-красной стене. Чёрных листьях, неморгающем глазе луны. Рассказать всем и все поймут.

Почти сразу он встретил Китаэ. Она меня поняла, он женился. Но когда всё стало разваливаться? Нет, я точно могу сказать.

Со своей женой уезжал брат. Он оставил на нас сына. Пятилетний мальчик, он был неаккуратный. Он смотрел прямо, я прятался. Китаэ говорила, племянник прилежный, тихий. Я постоянно слышал его шорохи. Всклипывания, шмыганья носом, вздыхания, бормотания. Я ощущал его самодовольную неразвитость. И я видел – всюду – грязь. Всюду, всюду: грязь, грязь, грязь. Грязь, которую всюду оставлял он. Липкие после сблеванной еды поверхности. Липкие столовые приборы, кружки, циновки. Склеившаяся ткань одежды, сопли, козявки.

Он подходил к нему, успокаивал. Вытирал слёзы, очищал нос, целовал. Смывал грязь, соскребал высохшую блевотину. Он задевал носом мои руки. И – я – чувствовал след племянника. Вонюче-сладкий запах под ногтями. Я видел этот

след запаха. Он вошел в мое мясо. Мое мясо, держащее пластину ногтя.

Он снимал металлическую рыбину очага. Он изображал её извилистое плавание. Он выворачивал подушечками пальцев ноздри. Он показывал им слизистую ноздрей. Они хохотали, Китаэ с племянником. Он вынимал щипцами горячую картошку. Клад на длинную кожу ладони. Дую и хихикая перебрасывал её. Из одной ладони в другую. Из другой ладони в другую. Смеялся племянник, и Китаэ смеялась. И они все – троём – ели. Ели картошку, широко раскрывая рты. Ели картошку, шумно втягивая воздух. Он водил племянника на реку. Вынимал склизких рыб из воды. Вкладывал руки в подводные жабры. Он ударял этих рыб камнем. Он взрезал рыб самурайским мечом. Он вынимал вонючие, жидкие органы. Он смеялся и волочил ноги. Палка на плече, проткнувшая рыбин. Обнажал длинные зубы; стих племянника. Бегущие ноги рядом, грязная одежда. Серая глиной и мокрой пылью. Вот слепая ярость выходит боком. Как Будда из матери – ненароком. Обнажал длинные зубы, показывал смех. Племянник смеялся, бил ладонью рыб. Китаэ смеялась над ним вечером. Он изображал глупость пойманных рыб. Раздувал глаза, извилисто плавал телом. Хлопал костлявыми руками по бедрам. Зажмуривался, когда пил желтый чай. Ему подражали; вытягивали узкие губы. Зажмуривали тёмные веки, отпивали воздух. Племянник смеялся над моей Китаэ. Китаэ смеялась над его племянником. Он морщился,

когда солил рыбу. Он объяснял, что боится пересолить. Он фыркал, ругался на темноту. Заваливался на пол, рассматривал дощечки. Видел лёжа – трещины шли прямо. Трещины изгибались и сворачивались клубком. Трещины проваливались в грязную впадину. В грязной впадине жили муравьи. Спали клубком с грузной маткой. Она рожала бледные прозрачные шарики. В них, чернея, росла точка. Он поднимался с тёплого пола. Брал яблоко и хрустел им. Слизывал с кожуры пенный сок. Племянник покрывался сыпью – Китаэ лечила. Красные язвочки по всей спине. Китаэ делала кисло-вонючую мазь. Раздавленная тля и толченый папоротник. Он покрывал язвочки бусинками мази. Племянник успокаивался и переставал стонать. Когда болел он, то – валялся. Сильно потел, изливался потом, краснел. Кашлял кровью – дымными сгустками, чёрными. Я глядел на него; недоумевал. Как можно быть таким слабым. Таким изнеженно растерянным в болезни. В том, что можешь победить. Он сидел у красноглазого очага. Опирался на длинные изогнутые кисти. Вращал длинное и тощее тело. Когда тянулся рукой за чем-то. Когда что-то попросил его племянник. Племяннику было скучно, он смешил. И вытирал его мерзкие выделения. Вытирал его мерзкие жидкие выделения. Племянник засыпал, ронял голову набок. Он с Китаэ уходили спать. Она вкладывала его в себя. Себя: темную и красную, влажную. Он стонал и изгибался телом. Китаэ роняла слюни изо рта. Сидел рядом и видел всё. Я сидел; окно становилось светлее. Светлее

тьмы комнаты спящих вдвоем. Я сидел, одиночество пахло спермой.

Теперь его нет; слабым сдался. Самурай Родинка сидел у костра. Грязь и влага, грязь, влага. Уходящие воспоминания плыли под веками. Всё, что я видел, – там. Я на месте у костра. Сухость, жар огня, сожженная влага. Синий воздух безволия и безнадёжности.

Дрожала чернота, наброшенная сёгуном Коджи. Прижималась к костру, задевая, отпрыгивая. Пыталась утолить свой холодный голод. Самураи, не задумываясь, находили места. Свои точки равновесия, зыбкие зоны. У костра сгущалась холодом чернота. Немного тепла, переданного костром сквозь. И дальше – снова холод, холод. Валун спал, вздрагивая и улыбаясь. Перед опрокинутым камнем сидел Клочок. Замер в сонном, усталом обмороке. Пятнышко закрывал, проваливаясь, глаза; вздрагивал. Открывал их и глядел вверх. Лежал на траве и чувствовал огненные языки, скрывшие всё, заставляющие работать; вверху пролетел густой чертой жаворонок, шумно вдохнуло воздух большое животное в лесу. Пятнышко закрыл глаза – багровый свет – пролезал через веки и скрывал всё, что было сказано ночью, вязкими языками, свалившихся в свои тьмы людей. Вскрикнул сломавший спину зверь – громадный, синий, сожраный чужими зубами – вскрикивал, пока не был успокоен матерью Пятнышки. Рука её лежит на вздрагивающем загривке зверя, безволосые складки под пальцами. Его мать лечила жи-

вотных, и он видел, как неподвижно – самодовольные кошки, яростные псы, упрямые козлы – смиренно сидят в бамбуковых клетях, висят, взятые ею за шкуру – словно они стали вещами. Она смотрела на них редко моргающими глазами, и они становились вещами, послушными ей. Глиняные суставы лап, покрытых жесткой шерстью, кончающихся слоистыми когтями. Узкие животы, заканчивающиеся изуродованными сосцами. Коричневые гортани, заканчивающиеся гнилью обнаженного корня. Они узнавали всё о себе под её взглядом и покорялись. Пятнышко знал, что и звёзды также – редко моргая – смотрят на людей и делают их покорными вещами. Киока – подруга Пятнышки – уходила, и Пятнышко падал и ему снились кошмары, как моргал громадный глаз, в котором он лежал и не мог встать, руки и ноги свисали над ресницами, глаз моргал и ранил Пятнышку. Тот кричал, но сам не слышал свой крик, словно кто-то бил по запылённым листьям лопуха, что росли у него внутри. В глазу плыли белёсые нити. Звенели деревенские колокола, начинался снег, кашляла мать; грызли черви; шевелила губами мать, глаз наливался едкой, съедающей раны, слезой.

Утром ещё царапалась японская луна. За пределами черноты прошел дождь. Трава блестела, как серебряный снег. Сёгун Коджи от страха вздрагивает. Спина изгибается; рука хлопает землю. Ноги резко подбрасывают большое тело.

Самураи просыпались, собирались, отряхивались. Повара давно уже уложили инструменты. Принц Ямато что-то гово-

рил Изаму. Сгоревшие седые угли присыпали землей.

Чернота прилипла к нависшей скале. Стекла, собравшись каплями, в лужу. Когти подцепили, вложили в морщины.

Сёгун вскрикивает, выстраивает самураев рядами. Сёгун дважды хлопает в ладоши.

– Баку съел мой дурной сон. Ты, Бисамон, съешь мою жизнь! Дай нам демонов – сокрушим демонов! Дай нам смерть – достойно поблагодарим! Твоя воля, Бисамон, – наша воля. Волей дать знать время смерти! Мы говорим, – долг тяжелее горы! Мы говорим, – смерть легче пуха!

Далеко в море куковала вода. Лицо Коджи ещё перед войском. Все стоят прямо, раздуваются доспехи. Сзади – со своим отрядом принц. Ветер приносит лёгкий запах болота. Ноздри сёгуна раздуваясь вбирают вонь.

– Как между ног любимой женщины!

Войско смотрит прямо, приподняты губы. Хохочет, Коджи разворачивается на месте.

Носящиеся вороны зевают, стелют перья. Живущие высокой ястребы обжигаются солнцем. Последнее облако глотает японскую луну. Кровянистые ягоды зовут из поля. Как человек, вдали глядят волки. Воздух густ, умытый, полнится зноем. Твёрдая земля светится спекшейся пылью.

Царапаются кузнечики, гладят землю гусеницы. Бабочка отлетала от цветка; качнулся. Цвета лишились бабочка и цветок. Узкие стебли злаков в поле. Закручиваются вокруг узкой пустоты внутри. Их воспалённые колени дрожат жаром.

Самураи идут, спускаются в овраг. Хлопья утреннего тумана облепили колючки. Ноги самураев тяжело мнут траву. Чавкают варадзи в размытом песке. Над ручьём висит густой туман. Бежит, толкаемое берегом, голубое небо. Грузные птицы летят у ручья.

Щурятся глаза Коджи – высматривают птиц. Раздуваются ноздри, – ищут чужой след. Коджи отыскивает дорогу, шепчет: Кэ!

Самураи поднимаются по мышинной ниточке. Оставила обнаженной железой в боку. Мышиная ниточка вывела из оврага.

Лежит широкая, без холмиков, равнина. Широкая, раскалённым призраком качающаяся вдаль. Вдавленная в каменистую землю дорога. Сбоку часто взвизгивают стайки птичек. Цикады бесконечно натирают густой воздух.

Войско идет, взгляд всех – точка. В каждой руке своё оружие. В правой руке – их знамя.

Они долго идут, несут спины.

Голова сёгуна встряхивается – прогоняя что-то. Стоит тишина – слышны звуки войска. Скрип кожи доспехов, трение металла.

Муравей изогнул тельце на листе. Застыл у выпуклой сладкой капли. Уставился на мерно выстукивающих самураев. В капле отражались дрожащие усы. Сосны нетерпеливо и зло щетинились. Солнце высоко плыло; трещала саранча. Капля съёживалась, оставляя белый след. Муравей схватил

остаток, побежал вниз.

Пыль, солнце – мокрые, тёмные лица.

Иногда их лиц касается ветер. Ласково; замороженный упрямым шагом самураев. Летит по делам с моря. Этот ветер щекочит хвостами стрижи. Своими бесшумными и многими ныряниями.

Поднятая ладонь, указательный палец – вверх. Войско останавливается, взгляд всех прям. Ладонь сёгуна Коджи останавливается, взгляд всех прям. Ладонь сёгуна Коджи поднимает самурая. Глаз осматривает сломанную вчера ногу. Ноготь надавливает слоистой пластиной ткань. Сочится желтый гной сквозь повязку. Гной воняет, глаза самурая расширены. Самурай смотрит на сёгуна Коджи. Он видит крупные поры лица. Шарики полупрозрачного пота над лбом. Гладкая кожа, вдавленные луковицы щетины. Коричневые пятна – вынутая светом старость. Ноздри Коджи расширены – обнюхивают рану. Пальцы размотали ставшую грубой ленту.

Губы Коджи круглятся толстой трубкой. Дуют на ногти левой руки. Они раскаляются и становятся красными. Рука поднимает самурая за пятку. Ноготь мизинца вырезает вскипевший гной. Раскаленная пластина прижигает тёмную рану. Воняет горелой плотью, самурай молчит. Сёгун накладывает гипс из глины.

– Должен был позаботиться о товарище! – Палец Коджи указывает на самурая. Стоит рядом с пустым местом. Рука Коджи приближается к нему. Раскалённый ноготь протыкает

грудь самурая. Спина – в бледно-синем суйкане. Проступает родимым пятном пятно крови.

Ладонь Коджи выкапывает ладонью яму. Кладет мертвого самурая, присыпает землёй. Ладонь утрамбовывает могилу, прижимает тело. Ладонь взмахивает, Коджи идёт дальше. Самураи идут дальше, держат оружие. Взгляд всех прям, ряды полны.

Лошадь принца Ямато вскидывает копытами. Ему иногда кажется, что он не то спит, не то плывёт. Что иногда войско идёт не вперёд, а прямо на него, только задом наперёд. Он видел свой отряд и все они – сухолицый Сатоси, всклокоченный Хитоси, скалящийся Яхара, одноухий Масаюки, улыбающийся Изаму и сердито-добрый Джунучи – мерно вышагивали в такт всем – всем – и взгляд их был прям. Справа перевернулось перекасти-поле, да, завертевшись, поднялась в воздух изломанная мертвая трава. Принц сщурился – по большой голове сёгуна скатывались громадные прозрачные полусферы и – ничего не оставляя – сползали по бурой шее за ворот. Принц знал, что остаток жизни он проведёт в молчании, и что принцесса Ото Тататибана будет светиться тёплым огнём рядом. Рядом с его служением, с его немой молитвой. Рядом с его днями и ночами. В его пещере и рядом с его чашей. Его светлые одежды будут светлы, его руки будут чисты. Он промолчит всю жизнь, и она – рядом с ним – промолчит.

Самураи идут и идут рядами. Тени двигаются кругом,

успокаивают траву. Коричневая земля тиха и тверда. Дымится пыль, ложится на место. Бурая дорога утопает ещё глубже. Бурая дорога вспархивает над землёй. На дороге вырастает одинокий лес. Перепутанные стволы и выкрученные ветви. Всё яростно и настороженно глядит. Всё ждёт действия, боится войска. Поднятая ладонь – остановка, лежит тень. Сёгун берет с неба молнии. Ладони хлопают и трут себя. Сёгун окружает огнём выгнутые деревья. Огонь – сперва осторожно – касается коры. Резко разбегаются по стволам вверх. Оставляет раны и рубиновые пятна. Оцепеневшие болью и ужасом деревья. Вспыхивают кроны, деревья колыхнутся, поздно. Сёгун Коджи оборачивается к самураям. Рот показывает иссиня-чёрные дёсны.

Войско проходит по хрустящей золе. Они идут, их взгляды прямы. Их тени плывут вокруг них. Их тени удлиняются и съеживаются. Прозрачный воздух готовится вобрать тьму.

Придорожная трава не держит себя. Жмётся к земле – узкая, острая. Широкие листья растений смугло-жёлты. Они пыльны и искусаны острым. От них ползут большие тени. Ползут, качаются, темня друг друга. Ползут на дорогу, касаются варадзи.

Рука сёгуна лезет за пазуху. Рука вынимает раскалённую горсть цыплят. Тело наклоняется низко к земле. Толстая кисть ложится на дорогу. Цыплята скатываются с круглой мышцы. В уставшую за день пыль. Цепляются за острые выступы мозолей. За желтые борозды на ладони. Сёгун Коджи

разрешает разбить строй.

В дали уже обвалилась чернота. У них ещё было серо. Душно сильно, холодно и пропало.

Самураи осторожно подходят к цыплятам. Гладят, прикасаются пальцами к головам. Хрупкие головы на тонких шеях. Воздух остывает каплями тихого дыхания. Один цыплёнок косится на самурая. Поворачивается, клюёт того в темечко. Ухватывает самурая за локоть, подкидывает. Раскрывает клюв; перепонка; и проглатывает. Ноги сёгуна топают по пыли. Руки хлопают ладонями по бёдрам. Цыплята разбегаются, оставленные земле пушинки. Пальцы сёгуна хватают того цыплёнка. Держат голову, сворачивает ему шею. Царапается луна, качается высокая трава. За ней – испуганный шепот зверей. Над ней испуганные клювы птиц.

Губы сёгуна Коджи подзывают повара. Велят сделать из трупа ужин.

Рот сёгуна подзывает остальных поваров. Громко, – здесь много густых лесов. В лесах земель ходят звери. Звери лесов полны сырого мяса. Руки сёгуна Коджи вынимает их. Лесные лев, овца и бык. Руки вырывают им их челюсти. Глотка сёгуна пьёт их кровь. Пальцы отбрасывают пустые тела поварам.

Сёгун Коджи вынимает спящую черноту. Швыряет над войском, охлопывает складки. Над чернотой нависает слоистая скала. С её высоты падает ручеёк. Разбрызгивается о черноту, стуча дождём. Коджи валится на землю, засыпает.

Самураи не жмутся к сёгуну. Садятся поодаль, разжигают

острые костры. К поварам подтаскивают сухие бревна. Громадный костёр ласкает свод черноты. Оставляет на ней сиреневые разводы.

Повара подтаскивают корзины, раскладывают столы. Вынимают чай, ямс и рис. Разделанные туши выложены в чан. И костер лижет его дно. Лежат грубые волосы гривы льва. Рядом – громадные кривые рога быка. Один из самураев разворачивает иглу. Наклонившись вырезает из рогов быка. Вырезает волны моря, завитки ветра. Камень, на котором сидит орёл.

Самурай прилёг у костра поваров. Смотрел на волны из рогов. Он задремал; к нему подсели.

– Ты был в храме Иса? – Спросил подсевший, крепко сбитый самурай. Костёр темнил тёмно-красную одежду.

Засыпающий самурай не стал отвечать. И спросивший начал рассказывать своё. Он паломничал в храм Котохира.

– Там мне встретился один чужак. Он рассказал про первого человека. Что первый человек был двуполым. Значит, и мужчиной, и женщиной. И их Создатель – один из трёх богов, в которых они верят, – чтобы не прекращалась жизнь, вынул частицу из человека, – и он с этой выемкой стал женщиной, а другой, созданный из глины и этой выемки, – мужчиной. Там был один из наших докторов – он сказал, что обследовал множество мертворождённых, и мы все сначала становимся девочками, а потом – как будет воля зачавшего отца – остаемся девочками или становимся мальчиками.

– Да что ты говоришь такое? Дурак, ты тратишь моё время! – Один из самураев крикнул, вскочил.

На шум подошел послушать самурай. Он обсасывал тонкую цыплячью косточку. Кто-то – легко смеясь – подозвал его. Назвал его Обжора из Осаки.

Смеющийся самурай, отмахнувшись, прошел дальше. Прошел дальше, сел к костру. Сел к своей вчерашней компании. Он потёр необычайно плоский нос. Валун, откинувшись, уставился на него. Чистое и доброе лицо; нос. Валун вспомнил его и кивнул. Снял шлем с ржавым рогом. Положил рядом, забыв про Носа.

Самурай чуть подвинулся от Носа. Сказал задумчиво:

– Наш поход – днём. Это сон среди выжженных полей. Сейчас мы бодрствуем до утра. Утра надо ждать до утра.

Он давно придумал эту фразу. И давно хотел её произнести. Но никто ему не ответил. Он смущённо улыбнулся и покраснел. Его губы были чуть зеленоваты. Между ними белели пластиной зубы. Они были ровными, как черепаши.

– Дурак, ты тратишь моё время! – Разозлившийся самурай повторил и зачесался. Он слушал рассказчика от усталости. А теперь с негодованием отвернулся. Постоял злясь и чешась, отошёл. Его плечо толкнуло другого самурая. В зелёной одежде; поправляющего доспехи. Самураи вспыхнули, сжали рукоятки мечей. Но – очевидно – удар был случайным. И они решили разойтись миром. Самурай в зелёной одежде развернулся. Разозлившийся сжал меч, захотел вы-

ругаться. Тем не менее, – он потерялся. Перед ним были костры, костры. Он быстро прошёл между ближайших. Кто-то вздрагивая снимал тяжелый металл. Кто-то дул на обожженную миску. Он прошёл ещё, выглядывая одежды. Он не узнавал чужие узлы. Изгибались узоры, лепестки на груди. Всё было не тем – вчерашним. Сбиваясь, он насчитал четырнадцать костров. Повернул от тех сидящих – влево. Показались ему похожими на тех. Но там отличались от тех. Свернутый нос, криво обритый лоб. Длинные ноги, вывернутые голые ступни. Не разожгли костёр вчера рядом. Насчитал ещё четырнадцать; услышал хохот.

Пот длинно скатывался по спине. Воняло – кругом – воняло, чесалась голова. Сидели исцарапанные чёрным потом люди.

Воняло – он понял – жареным мясом. Вонь жиром вползала в ноздри. Густым туманом слепляла глаза, ресницы.

И он вышел к своим. Он ещё взгляделся в них. Постарался запомнить, пересчитал по головам.

Родинка, и Нос, и остальные. Всё – соседи – посмотрели на самурая. Будто не узнавали, но подвинулись. Он сел на своё место. Его – между Черепахой и Клочком. Вдруг он испугался, что ошибся. И что пришёл к другим. Но Нос улыбнулся, он успокоился.

Он вспомнил услышанный там разговор. У того места, где повернулся. У одного из костров – тех. Чем сёгун закончит их поход. Но дыхание ещё не восстановилось. И выводы

вдруг показались глупыми. Сел удобнее; не стал пересказывать.

Клочок бросил огню щепотку соли. Потом развернул фурасики; огонь пожелтел. На голубой ткани лежала береста. Он положил её в костёр. Нос – напротив – ласково прикрыл глаза. Береста вспыхнула яркими пятнами; вскрикнула. Пятна заиграли на сонных лицах.

Чернота сгустилась у костра, отползла. Родинка поёжилась, потёр холодные бёдра. Валун потёр шершавые широкие ладони.

Костёр, подпрыгивая, горел; Клочок поднялся. Почесал чёрную от волос грудь. Прошел несколько метров к черноте. И – оттолкнувшись – вышел из неё. Валун погладил шишки громадной головы. Посмотрел на всех и расхохотался. Прошло несколько минут, все молчали. Клочок вернулся с головой подсолнуха.

– Ты вышел из сегуновой черноты? – Нос потёр кулаком ласковые глаза.

– И вошел, – ответил, садясь, Клочок.

– Надо тоже попробовать, – сказал Валун. Качнул шлем пальцем, повертел телом. Но остался сидеть у костра.

Пятнышко, держа руки, нагревал пальцы. Затем опускал их, касался земли. Тепло уходило в жадную землю.

– Я во время похода засмотрелся... Такие чайки летали, – начал он. Не сводил глаз с костра. Плотный оранжевым цветом огонь; пальцы. – И вот чуть не споткнулся. Чайки

летели над рекой непрерывно... И ещё отражение в реке... Оно, как быстро меняющиеся картинки.

– Что ты хочешь этим сказать? – Родинка взгляделся и заинтересованно спросил.

Пятнышко пожал плечами, Валун высморкался.

Клочок разломил подсолнух на части. Раздал каждому из его семи. Валун скатал высохшую траву шариком. Бросил в костёр, взял подсолнух. Пламя разодрало обуглившиеся травинки шарика. Струйку черного дыма втянула чернота.

Черепаша толкнул Носа, тот обернулся. Самурай недалеко постелили лошадиную шкуру. Установили на неё деревянного Рэйдзина. Его фигура – приготовление к прыжку. Над огненными волосами висели барабаны. Трехпалыми руками он сжимал молотки. Хранителем Рэйдзина был юный самурай. Его выскобленная щетина западала – рассказывал. Бо-жеству помолился в лесу зубр. Показал на него, подбиравшего хворост. Как весь лес тогда вспыхнул. И как лес моментально погас. Только его брови успели сгореть. Ещё запахло спалённой шерстью зубра. Самурай подошел к сжавшемуся Рэйдзине. Сел на колени; прямая спина. Широкие ступни; блеск натёртого дерева. Положил к ступням сожженное мясо. Проходили мимо по своим делам. Быстро и громко проносили имя. Самурай отряда Ямато передал ожерелье. На шею связанные верёвкой монеты.

Подошёл самурай с гипсом; поклонился. Попросил у кого-нибудь помощи; выпрямился. Поднялся Родинка; громко

хрустнули колени. Усадил загипсованного на своё место. Валун пошарил, быстро остругал прутик. Протянул Родинке; попробовал пальцем острие. Самурай просунул фалангу под гипс. Сказал, что-то ворочается и кусается.

– Ну, вши это, – сказал Валун.

Родинка попытался выгнать их прутиком. Просунув под гипс, осторожно подвигал. Но самурай только сжал губы. Потом и сам отобрал прутик. Тоже подвигал под гипсом; торопливо.

– Только разозлились, – наконец сказал он.

Родинка отодвинул руку с прутиком. Расперев ладонями изнутри, разломил гипс. Вынул из-за пазухи кусок ткани. Смёл вшей, отёр изгаженную руку. Валун ловил вшей на земле. Бросал в огонь; сухо лопались. Покрасневший Пятнышко сбегал к поварам. Принес воду и чистую ткань.

– Тебе больше не нужен гипс.

Острыми пальцами Родинка пробежал руку.

Ножом, водой и тканью – очистил. Глянул на самураев, выбрал Валуна. Попросил найти крепкую, прямую ветку. Наложил шину, стянув разорванной тканью.

– В какой-то мере я преклоняюсь. – Родинка погладил по спине самурая. – Мы ждём, показать свою твёрдость. А ты уже сделал это.

Самурай поблагодарил поклоном и ушёл.

У соседнего костра ели абрикосы. Худощавый старик-самурай протягивал шлем. Тихо набирал за дневной переход.

Набрал целый шлем и угощал.

Самурай заметил, что они незрелые. Сидел между Черепухой и Ключком

– Ну что ж, опростаются утром! – Валун захохотал, кто-то подхватил вдали. Самурай – заметивший – нервно двинул плечами. На лбу была глубокая вмятина. Длинная, как от удара балкой.

Внезапно Балке пришло на ум, что на какой-то миг он видел всех глазами сёгуна, или – что тоже верно – его видели глазами сёгуна. Но это он не стал говорить, потому что не знал как.

– ... человек, спешившийся с высокого коня. Грустен – узник палатки, – говорил Нос.

– Грусть правильна, когда умирает близкий. – Родинка повернул голову к Носу. – Бывает время, когда человек веселится. Его частицы приходят в хаос. И тогда они легко отделяются. Идут в путь за умершими. За теми, по кому скучают. Чем потерявший веселее, тем хаотичнее. Тем больше он теряет себя. Глубокая грусть оставляет тебя целым.

– А тогда сколько надо грустить? – Балка смотрел на вытянутую ладонь.

– Пока не успокоится часть ушедшего. Та, что осталась в тебе.

– Да, – воскликнул Валун, – я знаю! Это частица продолговатая, – он поднялся. С удовольствием погладил шишковатую голову. – Она может успокоиться в ложе. В таком вот са-

мом ложе! – Валун соединил указательные и большие пальцы. – Похожем на тёмную впадину женщины. Она успокаивается в угольном ушке. Ещё успокаивается в глазе кошки. В цифре почитателей Корана – тоже. И точно – в букве чужаков. В сочной траве, следе ребёнка. И в огибающей камень реке!

Низко висели звёзды, задевали черноту.

Пятнышко запрокинул голову, оперся руками. Молодая тонкая шея, пульсировали венки.

– Иногда мы также долго сидели. – Белело под подбородком пятнышко. – Сидели, сидели на высоком холме. Снизу гудели насекомые, – пульсировали венки. – А сверху гудели рисовые звезды.

Клочок отвернулся, скрывая свое внимание. Широко и беззвучно зевнул; хрустнув.

– Я тогда был уверен, что я звезда и рассматриваю сам себя, занятого чем-то непонятным и размышляющего о происходящих вокруг удивительных вещах.

– Чем таким – непонятным? – спросил Клочок.

– Каким-то бестолковым ворошением, – ответил Пятнышко. – Которое не остаётся в памяти.

За спиной Клочка зашумели; обернулся. Один самурай вышел из черноты. Принёс из леса громадное зеркало. Оно сверкало в чёрной раме. Самураи подходили, смотрелись в него. Трогали пальцами свои отличительные черты. Родинки, нос, заячью губу, шрамы. А потом смотрелись на других.

Удивлялись – они видят меня таким? И острее видели чужие особенности.

Вернулся Валун, смотревший в зеркало.

– Как это удивительно прекрасно; удивительно! – Валун подпрыгивал, был в восторге. – Как похоже на моих детей. Их – у меня – великое множество! – Захохотал, ткнул в плечо Родинку. – Они все похожи, одинаковые дети. Хотел одним именем всех назвать. Но Оока не согласилась чего-то! – Валун хохотал всё сильнее, сильнее. Ему не стало хватать воздуха. Согнулся и силой себя успокоил. – Но они – все, все, все! – Валун выпрямился и сердито нахмурился. – Все дети разные у меня. Вот шипит Оока – кто-то рискует. Прыгает спиной вперед на кошку. Кто-то пьёт чай и дует. Шипит вот, чтобы не обжечься. Чьи-то волосы, как у воробья. У кого-то, – как у орла. Чей-то котёл как у меня. У второго – ушки, как Оокины. Вот кто-то смеется над небом. Вот кто-то смотрит в колодец. Вот кто-то пьёт змеиный яд. Кто-то ходит по двору колесом. Кто-то не может сосчитать солнца. Кто-то верит только в луну. На кого это всё похоже? На нас вот, любимые мои! – Возбужденный Валун ходил вокруг сидевших. Балка встревоженно поворачивался к нему. Дремавший Нос улыбался чистым лицом. – И они все увидели себя. Всё искаженное, что их отличает.. Парша на шее, сломанный хрящ. Запах желудка и верблюжья губа. Женские глаза и выломанный лоб. – Валун посмотрел на зрачки Балки. Ему улыбнулся Нос, Пятнышко покраснел. – И нос, сбежавший в бордель.

Добившиеся любви злом; дарящие добро. Забывающие мысли и чешущие щетину. С выпадающей кишкой, оползающей грудью. С выползающими венами под коленками. Издевающиеся над родными, ходящие лабиринтами. Заикающиеся, когда видят искру белки. И все – палец сёгуна – самураи! Одно любимое войско, ряды четырёх. Войско, которое идет одной ногой. – Валун снова захохотал: Одной ногой! – Потом засмеялись Балка и Ключок. Валун прошел мимо улыбающегося Носа.

– Вы как мой шлем, – прошел. – У него один рог начищен. Он блестит, а второй – ржав.

Валун зашел за Родинку, замер. Ткнул пальцем в таби шлем. Упал, вывернув ногой осколки черноты.

Он выкручивался и испуганно рычал. Сильно бился спиной о землю. Из рта шла взбитая слюна.

Родинка вскочил, развернулся, взгляделся, присел. Схватил Валуна за разбросанные ноги. Почти влез ими в огонь. Ключок, перескочив Пятнышко, удерживал голову. Черепаха предложил зажать палкой язык. Чтобы не запал в горло. Ключок не посмотрел, выругался, запретил. Пятнышко уложил голову на мягкое. Положил узкие ладони на плечи. Прошло время, похожее на полчаса. Валун успокоился, он открыл глаза. Его тело обмякло, как будто уменьшилось. Стали видны косточки на руках. Ключок придерживал его мокрую голову. Ладони Пятнышки спали на плечах. Наконец, Пятнышко и их забрал. Валун поднялся, сутуло прошёл Ро-

динку. Молчаливо сел на своё место.

Балка немного наклонил голову вперёд. Он привычно оставлял спину прямой.

– Часть меня, – улыбнулся, – осталась дома. Очерченные тушью пятна теней ясеня. И круги политой земли, у каждого из которых дрожали пятна. Аптека с желтой вывеской, в которой глухой старик толлок, скручивал и растирал. Длинный дом пьяницы, который делал фарфоровых кукол. Видел себя – прозрачного – сушащего виноградные листья, омывающего очаг, поправляющего свитки на полке, полирующего оружие. Он жаждал защитить свой дом и – значит – себя. Эта жажда грела его сердце, и он заснул.

Валун встал и подразнил деревья.

Часовые сидели на своих местах. Их копыя устались в небо. Чернота холодно липла, часовые молчали. Пытались молчанием ускорить часы дежурства. Минуты медленнее, чем часы похода. Бледное – дым, сгущённое дыхание спящих. Поднималось к раненому копыями небу. Ждали, – небо укроет бледным рассветом. И можно будет подняться им.

Валун развернулся, ухватился толстым кулаком. Стал тянуть куст мешавшего репья. Куст изгибался и кололся стеблем. Царапался, не отдавал ни волокна. Валун уже развернулся полностью, упёрся. Он сопел, боролся с кустом. Под одеждой двигались круглые мышцы. Рассердившись, Валун вскочил, вынул меч. Он сопел и изрубил репей. Не стал бросать в костёр. Яростно пнул и далеко отошёл.

Родинка вспомнил, как слышал однажды ночью, когда ему не спалось, как переминалась с ноги на ногу хромая лошадь.

Родинка вспомнил, как смерть отца оставила в нём след, будто собака проехавшаяся задницей по истоптанной всеми дороге. Как он чувствовал ничтожество грохочущего вокруг – и везде, везде – мира. Как он успокаивался в тишине – и чувствовал её – эту тишину и мир в ней – ночью и подходил к спящей жене – тихо впускающей в себя воздух, и хранящую жизнь, он брал её за руку – легко – тёплую и нащупывал биение – стук изнутри сердца – как маленькой птички – трудится со своим гнёздышком и никуда не улетит, пусть опадают листья, пусть прошлогодние лежат всю зиму, пусть разрушаются новым солнцем – никуда, никуда, никуда.

Родинка слушал хохот вернувшегося Валуна. Шепот Балки, склонившегося к Черепахе. Что-то медленно и шипяще рассказывал. Черепаха кивал, показывал зеленоватые зубы. Запутывал в узловатых пальцах веточку. Родинка неожиданно почувствовал своё родство. Вернее, их родство к себе. Он опустил голову на грудь. Попытался не вытирать морозные слёзы. Когда поднялся, – они все спали. Видимо, прошёл дождь, совсем недавно. Шелестел костёр, стряхивала влагу чернота. Вокруг не была стальная тишина. Трещало – словно он – Родинка – оглох. Еле слышно – жуками, насекомыми – цикадами. Цикадами, – цокнул Родинка языком, прозрачно. Но он слышал – шевелились муравьи. Придавленные головы, узкие усики, глаза. Пятнышко не спал, бессонно мёрз. Попытал-

ся отогреть ладони раздавленным костром. Узкие ладони с голубоватой кожей.

Проснулся Валун и, зевая, потерся. Гулко постучал кулаком в грудь. Прыгнул вверх и убежал тетерев. Через два костра вскрикнул самурай. Чьё-то женское имя – во сне. Кто-то – там же – яростно заругался.

На щёку Носа упал свет. Тот отёр лицо и улыбнулся. Широкие и плоские ноздри расплзлись. Он мягко поглядел на Валуна. Тот с силой скрёбся ногтями. Круглую грудь, живот, плечи, шею. Валун зевнул и Нос тоже.

Сначала проснулись горы, затем камни. Следом проснулся сёгун, тело вздрогнуло. Рот зевком осыпал хрупкие листья. Плюнул на луну и погасил.

Приплыли тучи – чёрные, как лиса. Выросла трава, зелёная и жирная. Завизжали жуки и заскрипели муравьи. Свалилась звезда, обожгла зашипевшую черноту. Муравьи поволокли колючий жаркий шарик.

Кто-то поёжился, прогоняя плечами сон. Между кострами лежала грязная земля. Самураи старались не касаться её.

Сёгун скатал черноту, прохлопал рулоны. Нахмурился и вложил в морщины. Самураи искали глазами вокруг себя. Поднимали свои вещи, сдвигали чужие. Прикладывали доспехи к измятым платьям. Неохотно отвечали друг другу, зевали. Почёсывали щетину давно выбритых лбов.

Ноздри сёгуна подрожали, рот искривился.

– Запах говна напоминает о жизни.

Ладони сёгуна взлетели – самураи выстроились.

Шипели костры; низко висело солнце. Бросалось твёрдыми лучами, как свечами. Слепые глаза воинов – белели; белели. Ладони хлопнули друг о друга. Сёгун прочитал молитву святому Бисамону.

Пщали угли, они все пошли.

Они вышли к узкой реке. Они – рядами – пошли вдоль неё. Один берег горный, второй – луговой. В тених ив стоят цапли. Прыгают, красня острыми плавниками, нерки. Нерки сбрасывают вшей; ледяная вода. Густой воздух вынимает пот спин.

Река бурлит, похожая на мясо. Рыбки воздуха обкусывают лицо сёгуна. Вдоль реки летит черная ласточка. Закручивает хвостом воду серую воду. Сёгун смотрит на неё, улыбается. Рот улыбается, показывая чёрные десны.

Указательный палец тяжело – к ней. Улыбка между ногтем и мясом. Ласточкин клюв в громадной улыбке. Ласточка вынимает синеватую жилу; выдирает. Юркнув юзом, улетает; чёрная искра.

Река перестаёт закручиваться и загоревает.

Оплывает желтеющее поле; слезится воздух. Темнеет под солнцем поле; загоревает.

Кисти сёгуна Коджи подхватывают живот. Пальцы вжимаются в складки ткани. Вжимаются в толстые складки кожи. Кости сёгуна трясут живот, – смеётся. Трясутся горы и взбивают снег. Садится и оседает их снег. Отряхивают мёртвое

ржавьё листьев деревьев. Гогочут птицы, взывает, наконец, медведь. Тогда сёгун успокаивается, тело кланяется. Войско идёт дальше, прямы взгляды.

Рвут кожу тишины осы; солнце.

В каждой руке своя тяжесть. Войско идёт, взгляд всех прям.

Сёгун Коджи валится на землю. Градины пота валятся с головы. Его тело дрожит, разбрасываются ноги. Его тело бьётся о землю.

Три воина подбегают к нему. Его бедро твёрдостью раздавливает их. Ломает их руки и ноги. Одному ломает позвоночник; испуганный стон. Сёгун Коджи катается по земле. Он хохочет и брызгает слюной. Он давит горы коленными чашечками. Он выжимает болота из чаш.

Иногда из леса тянет хвоей. Сладко; ноздри сёгуна жадно раздуваются. Поднятая рука пальцем всех останавливает. Сёгун Коджи садится на дорогу. Он беззвучно плачет, волны затылка. Самураи переглядываются и садятся ждать. Земля тепла, войско смотрит вперед.

Принц Ямато сидит возле лошади. Она наклоняется, фыркает, продувает ноздри. Срывает длинную травину мягкими губами. И уходит гулять в поле. Она ходит среди красных цветов. Фыркает, ищет и шевелит ушами. Направляя – играя ими по сторонам. Поле пахнет коноплей и крапивой.

Принц Ямато расслабляет тело, ссутуливается. Разглаживает лоб, расслабляет свою мысль. Что он от всего свободен.

Будет брать в учёбу детей. Всех детей его молодой страны. Научит письму, поэзии, владению мечом. Как его Яхара будет ругаться. Ругаться на монахов, пришедших крестьян. Ругаясь, будет учить разбирать коренья. Отличать одни коренья от других. Будет запрещать им шелушить рис. Изаму – его смелый разведчик – рядом. Он учит детей языку птиц. Он будет вместе с Ямато. Будут разбирать птичьи послания им. Как Джунучи будет руководить хозяйством. Как безумный Хитоси скалит зубы. Как над ним смеются дети. Как он будет их пугать. И как мудрый Сатоси – вокруг. Он будет за всех молиться.

Принц Ямато облокотился на руку. Он ещё о чем-то подумал. И не пытался уловить мысль. Упал на спину, раскинул руки. И – выпрямив ноги – мгновенно засунул. Неподвижное солнце висело над ним.

Сёгун Коджи плачет несколько суток. Комар садится на красный загривок. Расставляет ножки, дрожит, прицеливаясь, жалом. Ввинчивает его в загорелую плоть.

Самураи сидят, слышат пение птиц. Смотрят вперёд; расширяется их голод. Взор каждого становится тоньше иглы. Тогда сёгун поднимается, поднимает войско. Разбитое по парам, ведёт дальше.

Происходит землетрясение – всё подпрыгивает, трясётся. Сёгун Коджи хохочет в небо.

– Ты, – Медведь, рожаешь своих поросят!

Кулак падает сверху в лес. Рука сёгуна вынимает копо-

шашуюся горсть. Ссыпает в раскрытый гранатовый инро. Пальцы закрывают коробочку, перевязывают шнурком. Кулак стучит по металлической поверхности. Сёгун сдирает волдырь из-под мышки. Пальцы достают медведя с детьми. Накрывают их кожей, сворачивают кулёк. Рот дует в кожу – пузырь. Пальцы держат узел, ладонь хлопает. Дождь крови обрушивается на войско. Сёгун вынимает из инро табак. Посыпает войско сверху разноцветными блёстками.

Войско подходит к обожженному полю. Палец сёгуна велит войску развернуться. Двигаются губы, велят закрыть глаза. Губы свистят, их раздвигают пальцы. Из поля бегут полчища мышей. Снимает штаны, ложится на спину. Ноги поднимаются, прижимаются к груди. Руки сёгуна Коджи раздвигают ягодицы. Мыши заползают и царапают бёдра. По одной исчезают в анусе.

Выпукло дрожат болота, дышат камыши. Лоснящиеся вороны, серая туча воробьёв.

На дереве сидят длинные птицы. И сёгун каркает на них. Рот каракает, чтобы они улетали. Только одна птица раскрывает клюв. Двигается вперёд, – не издает звука. Сёгун Коджи бежит на дерево. Хлопает по бокам, руки вскидываются. Тело собирается взлететь, выворачиваются ноги.

Только одна птица поворачивается спиной. Роняет сероватую каплю из-под хвоста.

Руки сёгуна, схватив, вырывают дерево. Переворачивают – вместе с длинными птицами. Всовывают корнями вверх в

рот.

Рука вынимает изо рта дерево. Обглоданный ствол с ошмётками веток. Рука лупит им по капле. Рука вбивает каплю в землю. Расшвыривает траву, другие – маленькие – деревья.

Ладонь похлопывает по зевающему рту.

– Слава бодхисатве Хатиману, его деланию!

Солнце устает от своего огня. Обмелевает; его свет водянисто ложится. Успокаивает обожжённую землю последней лаской.

Луна дрожит в глубине черноты. Язычок грязного рта сумасшедшего крестьянина.

Сёгун засыпает, мягко поднимается грудь. Войско располагается рядом; рассеиваются взгляды.

Громадные руки сёгуна поднимают кисти. Начинают чертить в воздухе узоры. Нос смотрел на них, молчал. Пытался поймать в них будущее. Только свое, и – не видел. Его сердце взбивало густую кровь. И знание было совсем рядом. Носу не хватало чего-то маленького. Всё разом – схватить и узнать. Он закрывал глаза и отворачивался. Но уговаривался развернуться и смотреть.

Смотрели узоры и другие самураи. Но вскоре узоры им наскучили. Занялись делами, – требовал ночной привал.

Ворочался самурай со сломанным позвоночником. Лёг и стонал от боли. Укладывался и так, и так. Нигде не находил покоя, стонал. Он отошел от костра, – морозил пеплом. Дозорные по очереди подходили успокаивать. Гладили его, он

затихал ненадолго. Снова кряхтел и возился на земле. Не находил покоя и успокоения. Он умер, все вдруг ощутили. – Насколько свободно стало от стонов. Самураи вырыли короткими мечами могилу. Положили тихого мертвеца в землю.

Легли и руки сёгуна Коджи. Они закинулись далеко за голову. Грудь его вывернулась ещё сильнее. Шумно выталкивали воздух глубокие ноздри.

Спал в своей палатке Ямато. Свернулся, подтянув к груди колени. Видел во сне своё лицо. Прямой нос, чуть улыбающиеся губы. Спокойно лежали одна на другой. Видел свои грязные чёрные волосы. Они красиво лежали на шее. Красиво лежали на худых щеках. Он видел Ото, она стояла. В воздухе рядом с ним. Её облик в белом кимоно. Прижатые к груди обнаженные руки. Ото Татибана глядела на него. Она была правильностью решения Ямато. За Ото светило холодным светом. Ямато не видел черт лица. Знал – её молчание, наклон головы. Ямато знал, это была Ото.

Нос пытался поймать мысль; щерилась. Она терзала, никак не давалась. Она будто отпрыгивала от шевеления. Нос попытался совсем не двигаться. Уставился – не видя – на Балку. Балка спросил, зачем тот смотрит.

Нос вышел из оцепенения, встряхнулся. Широко улыбнулся:

– Да на бороду. Уж очень твоя борода знакома. На любимое место жены похожа.

Все рассмеялись, качнулся волной костёр. Балка схватилась сперва за бороду. И – сразу же – за меч. Но только плюнул в костёр.

Нос вдруг ощутил холод черноты. Чуть отодвинулся от костра; потёрся. Родинка продолжал длинно объяснять Пятнышке. Он говорил через голову Валуна.

– Они – все христиане – двуличные – все! Говорят, верят только в Бога... Поэтому у них нет хозяев. А сами – все – поклоняются золоту.

Клочок весело посмотрел на Родинку. Валун поймал его взгляд, завертелся.

– Они поймали и распяли бодхи! Потом они назвали его своим. Как свиньи, жрут его плоть!

– Они любят действовать через ками. – Родинка не отвлекался, выставил ладони. – Проникают в нашу обыденную жизнь. Используют тех, кого мы опекаем. Кто под нашим покровительством находится.

– Смысл сёгуна, – это подавлять варваров. – Валун помахал у зевающего рта. – Главнокомандующий по подавлению всяких варваров.

– Они держат друг друга страхом. – Родинка пристально смотрел на Пятнышко. – И постоянно пугают друг друга. И постоянно пугаются сами, постоянно! Они думают, мы как они. Держим друг друга в страхе. Потерять должность, место, потерять семью. Но они не учитывают одно. То, чего у них нет. Что они и не знают. Уважения, – Родинка посмотрел

рел на Клочка.

– Но мы же гнём спины! – Нос потёр ладони и возмутился. Родинка изумленно глянул на него. – Чтобы содержать эту орду чиновников. Тех, которые ездят к императору. Тех, которые едят, что хотят. Которые проводят дни в лени!

– Так; но ты смотришь мелко! Эти приёмы и праздники нужны. Ими император Кэйко контролирует чиновников. Ты сам всё выболтаешь, а? Предложи тебе выпить и повеселиться? Контроль необходим, – Родинка поднял руку. Прижал, стукнув, ладонь к груди. – И даже отданный наш рис...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.